

ISSN 0130-3600

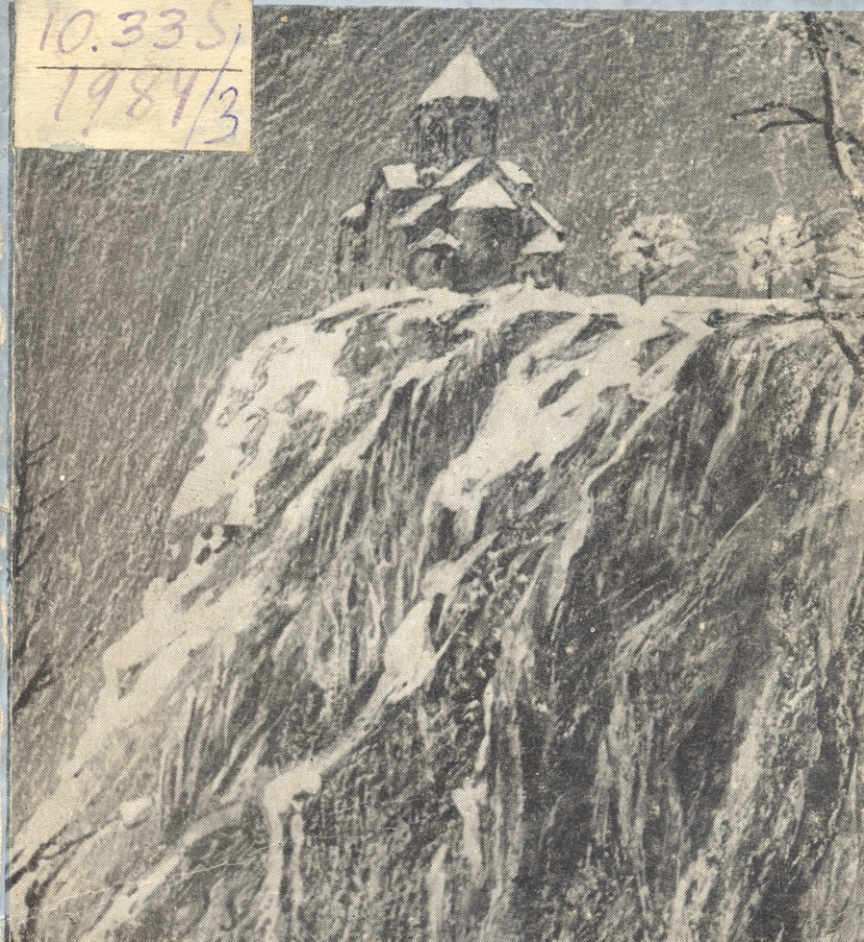
საქართველოს
ლიტერატურის

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

12

1984

10.335/
1984/3





ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

К 50-ЛЕТИЮ I СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ. Наш первый
съезд 3

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ХУТА БЕРУЛАВА. Русское сердце. Пе-
ревод Риммы Казаковой 19

НАИРА ГЕЛАШВИЛИ. Окна. Новелла.
Перевод Лили Лабадзе 36

ГАЛИНА ГУРУЛИ. В конце недели — от-
дых. Повесть 50

МИХО МОРЧИЛАДЗЕ. Лошадь в городе.
Рассказ. Перевод автора 100

ВЛАДИМИР МАРГАНИДЗЕ. Иррациональ-
ная триангуляция. Рассказ 111

ПУБЛИЦИСТИКА

АМИРАН АБШИЛАВА. «Потийский экспе-
римент». Окончание 127

12

1984

ЗАРЕМА КАЗБЕКОВА. Мир романа или романный мир? О некоторых чертах прозы Отара Чиладзе	138
ДАЛИ ИНЦКИРВЕЛИ. Сюжет «Балаварнани» в испанской литературе	158
ИГОРЬ БОГОМОЛОВ. Певец дружбы народов. К 70-летию Олексы Новицкого	168

40 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВАЛЕНТИНА БАЛУАШВИЛИ. Автор и его книга	171
--	-----

О ЧЕРК

ЛУАРСАБ ЕГОРОВ. Мир держится на мастерах	186
---	-----

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

АРЧИЛ СУЛАКАУРИ. Любить жизнь. К 60-летию со дня рождения Эдишера Кипшани	191
--	-----

РЕЦЕНЗИИ

ВЛАДИМИР ХАРИТОНОВ. Достоверность истории	197
ТАТЬЯНА ШАРΟЕВА. Необходимость диалектики	201

ИСКУССТВО

НАТИА АМИРЭДЖИБИ. «Голубые горы, или Невероятная история»	206
НИНО БАКРАДЗЕ. Долгая жизнь в искусстве	214

ХРОНИКА	185, 218
--------------------------	----------

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «Литературная Грузия» за 1984 год	220
---	-----

«ГРЕМИТ овалция.
Первый съезд писате-
лей Страны Советов открыва-
ется».

Разве мог автор этих строк,
которому в те далекие, очень
далекие дни, полвека тому
назад, было всего двадцать
пять лет, предположить, что
в круговращении времен ему
и пятьдесят долгих, очень
долгих лет спустя суждено
еще раз произнести все те
же слова...

Строки эти взяты из моей
статьи, напечатанной вместе
с портретом автора в газете
«Молодой коммунист» («Ахал-
газрда комунисти») от 22 ав-
густа 1934 года под заголов-
ком: «Из зала Первого съез-
да писателей СССР (записки
делегата)».

126.283
Не раз в нашей прессе
появлялась и фотография
группы грузинских писателей,
принимавших участие в рабо-
те съезда. Из тех, кто запе-
чатлен на этой фотографии,
кроме меня, сегодня в живых
не осталось никого. Вообще
из 600 делегатов того съез-
да ныне живы разве что че-
ловек пятнадцать...

Полвека...

Пятьдесят лет...

Москва в основном была
еще старым городом. Ста-
рой Москвой. Генеральный
план новой, будущей Москвы
был утвержден только в
следующем, 1935 году. В го-
роде лишь начинали кое-где

К 50-ЛЕТИЮ
I СЪЕЗДА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Ираклий АБАШИДЗЕ

НАШ
ПЕРВЫЙ
СЪЕЗД

строиться новые дома, в том числе новинка Охотного ряда — гостиница «Москва», возведенная к тому времени до третьего или четвертого этажа. Грандиозного нового корпуса здания тогда и в проекте не было, а нынешние московские небоскребы могли разве только привидеться во сне.

Это был мой второй приезд в Москву. Впервые я побывал в столице зимой 1931 года. Заснеженная, морозная столица ошеломила меня. В те годы вообще лето у нас в Тбилиси было куда жарче, а зима в Москве — холоднее. Но такой холодной зимы, как в 1931 году в Москве, я не припомню. По мостовым еще носились сани, на лошадях висели ледяные сосульки, а из ноздрей поднимался такой густой пар, что они казались сказочными видениями. Чтобы выглянуть из окна трамвая, нужно было прежде справиться с толстым слоем наледи на стекле. Выходить из гостиницы на улицу мне было так же страшно, как совершить прогулку в лесу, кишачем дикими зверьями.

Однако уже тогда, в 30-е годы, Москва стала одним из крупнейших центров культурной жизни планеты. Здесь уже устраивались всемирные конгрессы ученых, симпозиумы, конференции. Москву охотно посещали зарубежные знаменитости. В тридцатые годы здесь побывали Анри Барбюс и Рабиндранат Тагор, Планк и Жолио-Кюри, Синклер и Бернард Шоу, Фейхтвангер и многие другие деятели с мировой славой. Москва блистала своими театрами и фестивалями, художественными выставками и киношедеврами, большими олимпиадами, в том числе проведенной в 1930 году Олимпиадой национальных театров, на которой прославились наши театры имени Руставели и Марджанишвили. Большинство научных и культурных мероприятий проводилось в знаменитом Доме Союзов.

Дом Союзов предоставили и для нашего съезда.

К 15 августа все делегаты съехались в Москву. В Оргкомитете всеми делами ведал ответственный секретарь товарищ А. С. Щербаков, впоследствии ответственный секретарь Союза писателей СССР, крупный партийный и государственный деятель, а в годы Великой Отечественной войны — начальник Политуправления Советской Армии.

Сейчас я даже не помню, на какой улице находилась гостиница «Северная» или «Восточная», в которую поселили часть грузинской делегации; кажется, в районе Кузнецкого моста. Позже она была сметена Генеральным планом новой Москвы. Я оказался в одном номере с Иосифом Гришашвили.

Первому съезду советских писателей предшествовали крупные и сложные явления в литературной жизни Союза ССР. В первую очередь известное постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций»; был упразднен РАПП, руководители которого в РСФСР и братских республиках в последние годы существования этой организации допускали одну ошибку за другой, идя по пути групповщины, левацкого вульгаризаторства и увлечения администрированием в работе с беспартийными писателями. Окончательно скомпрометировал эту организацию выдвинутый ее руководителями ложный лозунг «Враг или союзник», который мешал дореволюционному поколению писателей приблизиться к советской действительности. Так было в РСФСР, так было везде, так было и в Грузии. Кроме того, шли бесконечные толки и пересуды по поводу трагической гибели Владимира Маяковского.

Об этом историческом постановлении на Первом съезде советских писателей сказал в своем докладе тогдашний руководитель грузинской писательской организации Малакия Тороселидзе: «Постановление Центрального Комитета ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» стало мощным импульсом нового творческого подъема для грузинской литературы».

Да, ошибки были... Кипели острейшие идейные схватки...

На собраниях писателей и художников шумели грандиозные диспуты двадцатых — начала тридцатых годов о путях мучительных поисков нового, верного художественного слова.

Если бы не эти ошибки и битвы, наверное, было бы создано больше, и тем не менее делегация грузинских писателей прибыла на Первый съезд писателей СССР, имея в своем активе не только великое классическое литературное наследие, но и произведения, созданные за десять лет Советской власти, которыми по праву гордится грузинская советская литература. Это «Эпоха», «Пацифизм», «Джон Рид», «Сто стихотворений», «Мы, поэты Грузии» Галактиона Табидзе; «Обвал», «Арсен из Марабды», «Квачи Квачантирадзе», «Невинный Абдула» Михаила Джавахишвили; «Погасший ореол» и «Царица Византийская» Василия Барнова; «Феодалы» и «Епископ на охоте» Нико Лордкипанидзе; «Улыбка Диониса» и «Похищение луны» Константинэ Гамсахурдиа; «Кровь» и «Хаки Адзба» Лео Киачели; «Тетнульд», «Гурия Ниношвили» и «В самое сердце» (театр Марджанишвили) Шалвы Дадиани; «Поэзия» и «Лирическое лето» Паоло Яшвили; «Рион-порт» и «Стих-обвал» Тициана Табидзе; «Ночь святой Нины» и «Свидание» Георгия Леонидзе; «Прощание со старым Тбилиси» и «Литературная

богема старого Тбилиси» Иосифа Гришашвили; «Тбилисская ночь» и «Смерть отца» Александра Абашели; «Санавардо» и «Бата Кекелия» Демны Шенгелая; «Луна провинции» и «Сванские рассказы» «Трое» и «Анзор» (театр Руставели) Сандро Шаншиашвили; «Заря Колхиды» Константина Лордкипанидзе; «Кваркварэ Тутабери» Поликарпэ Какабадзе; «Лицом к лицу» Александра Кутатели; «Шамиль» Ионы Вакели; «Ушгульский комсомол» Симона Чиковани; «Апология Риони» Константинэ Чичинадзе; «От Цицамури до Сагурамо» Колау Надирадзе; великолепные стихи Валериана Гаприндашвили, Алио Машашвили, Шалвы Апхаидзе, Раждена Гветадзе, Виктора Габескирия, Ило Мосашвили, Георгия Кучишвили и многое, многое другое. Я, разумеется, не касаюсь здесь грузинского искусства, театра, кино, музыки, живописи, которые также изумительно заблистали в те далекие годы.

* * *

После того как был упразднен РАПП и создан Всесоюзный оргкомитет писателей под председательством Максима Горького, после того как было решено провести в 1934 году Первый съезд писателей, мы, писатели, ожидали чего-то огромного, нового в литературной жизни страны. Для многих уже тогда было очевидно, что огромное и новое будет связано с «консолидацией сил» писателей в масштабах всей страны, о чем много говорили и в России, и в братских республиках. «Консолидация сил» была необходима в условиях осложнившейся международной обстановки, когда в европейском небе уже сгущались первые тучи новой мировой войны и фашизм активно готовился к величайшему преступлению перед человечеством.

Несмотря на то, что почти все крупные писатели были сторонниками этой «консолидации» и в этом вопросе идейная основа съезда, казалось, была подготовлена, повсюду среди писателей до самого дня открытия съезда шли жаркие споры по поводу создания нашей общей организации. Многим еще не до конца ясна была целесообразность и необходимость существования такого союза. Как объединить в одном союзе представителей самых разнообразных школ и течений, исповедующих различные эстетико-философские принципы; как совместить различные писательские группировки, которых по-прежнему оставалось немало и в РСФСР, и в республиках, имевших сложившиеся литературные традиции, в том числе и в Грузии. Правда, за два года до того они организационно распались, но мировоззренчески все еще объединялись в такие группы, как «Голубые роги», «Левизна», «Академические писатели» и другие. Кое-кто открыто высказы-



вал опасения, что подобное объединение, всеобщий союз не возможен для литераторов и грозит привнесением в творчество однообразия и «штамповой болезни».

Видимо, этими спорами и опасениями было вызвано решительное заявление Максима Горького, прозвучавшее в самом начале его выступления:

«Мы выступаем, демонстрируя, разумеется, не только географическое наше единение, но демонстрируя единство нашей цели, которая, конечно, не стесняет разнообразия наших творческих приемов и стремлений».

Это заявление Горького, сделанное с высокой трибуны Первого съезда советских писателей, имело огромное значение не только в тот период, когда не все еще до конца определилось в советской литературе, но и для всего ее последующего развития.

Тут следует добавить, что многие из нас весьма смутно представляли себе цели не только будущего союза, но и самого Первого съезда советских писателей.

Когда я вспоминаю об этом сейчас, полвека спустя, я не вижу в этом ничего необычного. Естественно, что все творческие работники и не могли сразу представить себе далеко идущих целей съезда, его больших достижений и масштабности его деятельности. Но то, что подготовка к этому съезду скрупулезнейшим образом велась целых два года и во главе ее стоял сам Максим Горький, рождало у большинства из нас веру, что на съезде состоится важный, масштабный разговор о судьбах литературы и искусства.

Перед съездом была проделана огромная подготовительная работа. В республики отправились бригады известных русских поэтов и прозаиков. На русский переводились лучшие произведения национальных литератур. В Грузию, в частности, приехали Николай Тихонов, Борис Пастернак, Юрий Тынянов, Ольга Форш, Виктор Гольцев, Петр Павленко и другие мастера русского художественного слова. И скоро в прекрасных переводах зазвучали лучшие поэтические строки украинцев, белорусов, поэтов Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Средней России. На весь Союз грянула новая, никому доселе неизвестная симфония. Мы, литераторы республик, конечно, знали литературную Россию, но литературная Россия не знала нас; не знали мы и друг друга. Сегодня стали общеизвестными замечательные результаты, которые принесла предсъездовская работа. Именно в те годы были заложены основы великого культурного процесса, который выразился во взаимных переводах лучших художественных произведений и стал сегодня истинной литературной традицией нашей страны.

Невозможно перечислить все литературные мероприятия в нашей стране и за ее пределами, в которых мне довелось принимать участие на протяжении пятидесяти лет, но ни одно впечатление не в силах сравниться с тем, которое произвел на меня Первый съезд советских писателей; он и по сей день неизгладимо живет в моей памяти. Для участников съезда он был величайшим форумом, в котором им когда-либо приходилось участвовать; для всей страны, для братских народов Советского Союза он был одним из важнейших событий не только литературной, но и духовной, идейной жизни страны предвоенных лет.

Чтобы оживить здесь наш рассказ, обратимся еще раз к газете «Ахалгазда комунисти» за 1934 год. Вот еще несколько строк из моей статьи:

«17 августа раньше всех к Дому союзов, вероятно, пришел я; впрочем, трудно установить, кто из делегатов явился раньше. Перед Домом союзов толпился народ, и мы с трудом прокладывали себе дорогу в этом людском море... Казалось, перед Домом союзов ежедневно происходит грандиозный митинг...»

Это действительно было незабываемое зрелище.

Стольких прославленных художников слова, собравшихся вместе, Москва еще не видела. К гостиницам, словно паломники, стекались москвичи и жители окраин, более того — ближайших городов; любимых писателей они встречали у выхода из гостиницы ликующими возгласами и овациями. Бесчисленное множество книг протягивалось за автографами. Особенно критическая ситуация создалась у парадного входа в Дом союзов. С утра 17 августа он оказался недоступным для самих делегатов съезда. Лишь постепенно милиции удалось проделать «коридор» для делегатов. Запомнился и такой курьез: один из зарубежных писателей никак не мог пробиться к дверям; дело было в том, что этому осанистому, полноватому атлету стало невозможно от московской жары, и он надел шорты. Милиция приняла его за спортсмена и не давала ему пройти. В конце концов все, конечно, выяснилось, и нашего немецкого гостя, которого очень позабавила эта ситуация (это был Оскар Мария Граф), вежливо и с почетом пропустили на съезд. Просить автографы у Дома союзов милиция не разрешала. Максим Горький проходил через какой-то другой вход, и это было правильно, иначе съезд мог попросту не состояться. В дневные перерывы многие из нас вообще не покидали помещения Дома союзов, зато незабываемы вечера в бывшем Филипповском ресторане на улице Горького, к которому мы, делегаты, были «прикреплены».

До полуночи шум и возня за столиками; знакомство друг с

другом, личные контакты, встречи, торжественные речи... Помню, как-то вечером я пораньше зашел в ресторан и присел к столику в глубине зала. Вскоре к моему столику подсели еще двое. Они тоже успели уже, видимо, пропустить глоток-другой и были в отличном настроении. Один из них сразу протянул мне руку: «Семенко, футурист, с Украины», — отчеканил он, словно подчеркивая этим, что не изменит своей группировке, в какой бы союз нас всех ни объединили. Потом представился и второй — Исаак Бабель! У меня сразу поднялось настроение. Вскоре всеобщее оживление охватило весь зал. Никто уже не вспоминал о школах и направлениях. Голоса смешались, слившись в общий мажорный гул. То там, то здесь слышался пронзительный смех Александра Фадеева, восторженные «Браво!», «Бис!» «зятя Грузии» Бориса Пильняка и замечательного армянского поэта Егише Чаренца, восхищенных пением Тамары Церетели.

* * *

При появлении Максима Горького на сцене Колонного зала Дома союзов будто все двери и окна распахнуло могучим ураганом. Долго не стихали овации. Долго еще на трибуне Алексей Максимович беспомощно разводил руками, как бы прося спокойствия и внимания. Ураган утих не скоро.

На этот раз он показался мне слишком ссутулившимся. Шесть труднейших лет с тех пор, как я видел его в Тбилиси, сделали, конечно, свое дело. Горький заметно волновался, и это никого не удивило. Ведь волнуются даже опытные профессиональные актеры, которые, как говорится, родились в театре и считают сцену своим рабочим кабинетом. Но Алексей Максимович волновался безмерно, несмотря на то, что он, безусловно, заранее психологически готовился к этой встрече. Нет, это не было обычным, профессиональным волнением: оно было порождено неизмеримо более сложными и разнородными причинами, а среди них, в первую очередь, были те «гордость и радость», с которыми ему предстояло открыть съезд: «С гордостью и радостью открываю первый в мировой истории съезд литераторов Союза Советских Социалистических Республик, обнимающих в границах своих 170 миллионов человек!» Многие заметили, что в эту минуту глаза Алексея Максимовича увлажнились — перед нами стоял сам Максим Горький... «Уважаемые товарищи! Прежде чем открыть первый в многовековой истории литературы съезд советских писателей...»

Кроме меня, на съезде присутствовали лишь двое поэтов молодого поколения; только два человека моего возраста стали делегатами этого форума. Тогда мы еще не были знакомы; представьте себе, на съезде мы так и не познакомились. Нас, тогда еще совсем молодых людей, куда больше интересовало знакомство с известными писателями, поэтами и в зале заседаний, и в кулуарах мы не сводили с них глаз. Друг друга мы узнали позже, перед войной, подружились в годы войны; моими сверстниками на съезде были Александр Твардовский, Александр Яшин...

С некоторыми известными русскими писателями старшего поколения я был знаком раньше, по Тбилиси. Мое первое прозвучавшее по-русски стихотворение, посвященное брату, еще в 1933 году перевел и прочитал в кругу грузинских поэтов Борис Пастернак. Я был безмерно счастлив. В Тбилиси же я познакомился с Николаем Тихоновым, да и самого Алексея Максимовича мне впервые довелось увидеть во время его приезда в Грузию в 1928 году. Писатели и деятели искусств пригласили его во Дворец писателей. Город горел от зноя, но тбилисская жара была Алексею Максимовичу не в новинку. Мы, молодые, толпились у входа во Дворец писателей. Он приехал к нам, чтобы, по его словам, «еще раз вспомнить Грузию, какой видел... ее сорок лет тому назад, вспомнить Тифлис — город, где... начал литературную работу». Выступление Максима Горького на торжественном заседании Советов депутатов трудящихся Тбилиси было согрето истинно горьковским лиризмом. «...Разрешая себе немножко лирики, я хотел этим сказать несколько слов о моей неиссякаемой симпатии к вам и стране вашей...» Алексей Максимович горячо поздравил тбилисцев с большой победой — завершением строительства ЗАГЭСа: «Вот она, прекрасная жизнь, простирающаяся перед вами».

В Тбилиси я встречал и Константина Паустовского, Корнея Чуковского, Петра Павленко... Увы, не все, кого я знал прежде, участвовали в работе съезда, — среди них Владимир Маяковский, который в 1927 году приехал в Тбилиси, как оказалось, в последний раз.

Полвека... Пятьдесят лет...

Сколько советских писателей, сколько дорогих и любимых друзей унесли с собой эти годы; скольких навсегда сблизили и скольких навеки разлучили...

И сейчас перед моими глазами в Колонном зале Дома союзов стоят и беседуют в кулуарах и во время перерывов Серафимович и Алексей Толстой, Корней Чуковский и Демьян Бедный,

Эренбург и Тынянов, Фадеев и Сурков, Леонов и Олеша, Асеев и Паоло Яшвили, Катаев и Чаренц, Кольцов и Эйзенштейн, Тихонов и Пастернак, Тициан Табидзе и Михаил Джавахишвили, Сулейман Стальский и Гамзат Цадаза, Шкловский и Гайдар, Сельвинский и Паустовский, Петров и Микола Бажан, Новиков-Прибой и Безыменский, Соболев и Якуб Колас, Павло Тычина и Федин, Максим Рыльский и Бабель, Зощенко и Шагинян, Шалва Дадиани и Гафур Гулям, Самед Вургун и Петрусь Бровка...

Все это и было воплощением тех чаяний, с которыми многие из нас прибыли на съезд из братских республик, осуществлением той благородной цели, о которой сказал на съезде Алексей Максимович: «Мы не должны довольствоваться шапочным знакомством друг с другом».

С первого же взгляда было видно, что в зале сидят «представители разноплеменной, разноязычной литературы всех наших республик. Далеко не все облачены в европейские костюмы, далеко не всех знает широкий всесоюзный читатель. На каком только языке не ведутся разговоры в кулуарах!

Именно Максим Горький положил начало выступлениям с трибуны съезда представителей многонационального отряда художников слова. И сам этот съезд превратился, можно сказать, во всеобщий праздник и торжество многонациональной литературы великой Советской страны, в демонстрацию ее могучей силы и творческих возможностей. «Пятьдесят две национальности прибыли на съезд; пятьдесят две литературы слились воедино для всемирного планетарного дела, — сказал в своем выступлении, посвященном вопросам перевода, Корней Чуковский и подчеркнул, что переводческое дело — дело величайшей государственной важности, в котором кровно заинтересованы миллионы».

Константин Федин очень верно подметил в своем выступлении главное: «Я обращаю внимание на одну характерную черту съезда: он является не только съездом советских писателей — он является съездом советских народностей...»

За этим последовал из сердца вырвавшийся возглас грузинского поэта Тициана Табидзе: «Товарищи, разве не позор, что мы, поэты разных народов Союза — Украины, Белоруссии, Армении, Средней Азии, — так мало знаем друг друга?»

И действительно, ближайшие соседи — грузинские, армянские и азербайджанские писатели — в XIX веке, когда многие из них печатались и встречались в Тбилиси, лучше знали друг друга, чем ныне писатели современные; еще меньше знакомы друг с другом дальние соседи, представители других братских республик. Тициан Табидзе сказал справедливые слова. Настал час, ког-

да сама наша советская действительность сблизила нас и сердца наши потянулись друг к другу.

Первый съезд советских писателей был первым настоящим форумом, продемонстрировавшим единство мастеров художественного слова.

Как известно, на Первом съезде несколько докладов было посвящено литературам национальных республик. Благодаря этим докладам мир впервые узнал не только о существовании этих литератур, но, возможно, и о существовании некоторых из этих народов. Да и на самом съезде эти выступления произвели на делегатов впечатление чуть ли не археологических открытий.

Доклад руководителя грузинской делегации Малакии Торошелидзе из всех докладов и содокладов съезда был самым большим. Он занял почти все утреннее заседание 20 августа и вызвал в зале настоящую сенсацию.

В своем докладе Торошелидзе развернул перед делегатами впечатляющую картину многовековой грузинской классической и современной литературы. Многие ораторы позже выражали воодушевление, вызванное этим докладом.

Особенно мне запомнились — и я неоднократно повторял их впоследствии — слова армянского поэта Егише Чаренца, произнесенные им со съездовской трибуны после доклада Торошелидзе: «Самое знаменательное явление, раскрывшееся перед нами на настоящем съезде, это, на мой взгляд, доклады о национальных литературах, открывших перед нами многообразный, доселе неведомый нам мир. Это один из самых крупных положительных результатов нашего съезда, все значение которого сейчас еще не может быть оценено в должной мере».

Малакия Торошелидзе в 1932 году был избран на съезде грузинских писателей руководителем и председателем республиканского Оргкомитета писателей по рекомендации Центрального Комитета КП(б) Грузии. В то время он занимал должность заместителя Председателя правительства Грузии. Он был старым большевиком и вместе с Иосифом Сталиным, Ладом Кецхели и М. Давиташвили одним из первых установил связь с В. И. Лениным. Он был одним из первых переводчиков «Капитала» на грузинский язык; никаких претензий на литературную значимость он не предъявлял, будучи, однако, образованнейшим представителем партийной интеллигенции, ценителем литературы и искусства. Чрезвычайно принципиальный, кристально честный, убежденный коммунист, он порою оставлял впечатление человека резкого, и писатели то и дело сочиняли на него эпиграммы. На



Был
0102-11101033

самом же деле он был человеком мягким, втайне сентиментальным...

Приятно вспомнить, что вопрос об отношении к классикам было смело и по-деловому поставлен на съезде именно грузинской делегацией. Малакия Торошелидзе много говорил о тех извращениях, которые допускала грузинская литературная критика 20-х — 30-х годов по отношению к классикам — от Руставели до Ильи Чавчавадзе. В частности, первый из них был зачислен в разряд певцов феодализма, а второй признан апологетом капитализма.

Это явление носило в то время всеобщий характер, и выступление Торошелидзе на съезде в этой связи также снискало одобрение и вызвало единодушную реакцию. Отныне великие писатели прошлого вновь были поставлены на службу нашей стране, нашим народам, новому миру. В дальнейшем оживленный разговор о классике еще долго продолжался в кулуарах съезда.

На другой же день после доклада о грузинской литературе в Колонном зале Дома союзов рядом с портретами классиков мировой литературы повесили портрет Шота Руставели. Я уже не раз писал о том, какой энтузиазм это вызвало среди делегатов и особенно, конечно, у посланцев Грузии.

Первый съезд советских писателей был форумом, на котором впервые была дана верная оценка классическому литературному наследию.

После доклада Торошелидзе съезд с необычайным вниманием слушал все выступления грузинских писателей, и следует отметить, к чести ораторов, что выступления их относились к числу самых ярких и содержательных. Кроме упоминаемых здесь выступлений Михаила Джавахишвили и Тициана Табидзе, прекрасным было слово Паоло Яшвили, вызвавшее восторженные аплодисменты всего зала.

Выступление Паоло Яшвили на съезде было первым шагом к установлению личных контактов и дружеских отношений с зарубежными писателями.

Кстати, после нашего возвращения со съезда в грузинской «Литературной газете» была напечатана карикатура: на трибуне съезда стоит Паоло Яшвили с большим рогом в руках. Карикатуру нарисовал художник Самсон Надарейшвили, а подпись сделал я:

Гостей Паоло призывает, как генерал —
войска на бой:

«Поднимем выше роги, братья,

пейте наш воздух голубой!».

Помнится, Паоло незамедлительно отозвался на это своим маленьким, изящным «Неожиданным стихотворением»; к сожалению, оно нигде не было напечатано.

Доклад Торошелидзе имел большое значение для всего литературного процесса, в особенности же для последующего развития грузинской литературы.

Мне хотелось бы вспомнить здесь некоторые перипетии, связанные с докладом Малакии Торошелидзе, хотя в истории грузинской советской литературы этот факт в общем довольно хорошо известен.

Несколько месяцев назад в статье, опубликованной в «Литератури Сакартвело», я прочитал, будто доклад Торошелидзе был написан одним ученым-литературоведом. На самом же деле он был результатом труда целого коллектива писателей и ученых. Дело в том, что незадолго до открытия Первого съезда писателей Сталин поинтересовался проектом доклада по грузинской литературе и принял в Москве Малакию Торошелидзе. Первый вариант доклада Сталин резко раскритиковал и дал докладчику указание коренным образом переработать, включив в него обширный и основательный обзор грузинской классической литературы, начиная с древнейших времен.

Была срочно организована группа ученых и писателей в составе П. Ингороква, А. Барамидзе, Г. Кикодзе, М. Зандукели, Ш. Радиани, Б. Жгенти, Д. Деметрадзе и самого М. Торошелидзе, которая в каких-нибудь две недели подготовила совершенно новый доклад. Обо всем этом подробно пишут в своих воспоминаниях сами участники этого коллектива — академик Александр Барамидзе и критик Бесо Жгенти.

С высокой трибуны Первого съезда советских писателей весь мир впервые услышал о существовании новой большой национальной литературы по ту сторону Кавказских гор. Нас приглашали на московские предприятия, проводили встречи с рабочими, с молодежью. А несколько месяцев спустя в Москве и Ленинграде начались незабываемые поэтические вечера грузинской поэзии с участием Тициана Табидзе, Паоло Яшвили, Сандро Эули, Георгия Леонидзе, Валериана Гаприндашвили, Симона Чиковани, Карло Каладзе, Алио Машашвили и автора этих строк.

Разговор о классиках на съезде органично перерос в разговор о высоком мастерстве, о том, что значит быть «великим мастером» в литературе.

По сути дела, разговор о мастерстве начался на третьем заседании съезда и, как ни удивительно, поднял его в своем выступлении исследователь Арктики Отто Юльевич Шмидт. Он на-

чал с извинений — ему надо было срочно возвращаться в Арктику, и поэтому президиум съезда предоставил ему слово в самом начале.

Здесь мне хочется сделать небольшое отступление. О. Ю.

Шмидт был главным героем челюскинской эпопеи, а в те времена это событие было у всех на устах; я же знал о челюскинцах не только по газетным сообщениям и фотоснимкам, но и по рассказам моего брата Андрея. Окончив в 1930 году Тбилисский медицинский институт, Андрей Абашидзе дал телеграмму в Северное пароходство с просьбой зачислить его врачом на ледокол «Литке», который, по сообщениям газет, готовился в первое сквозное плавание Северным морским путем с востока на запад за одну навигацию. Ответ пришел незамедлительно, подписал его не то сам капитан судна Николаев, не то научный руководитель экспедиции В. И. Визе, и Андрей немедленно отправился на Север. Ледокол целый год стоял на зимовке во льдах и продолжил свой путь, когда разыгралась челюскинская трагедия. «Литке» вышел на помощь «Челюскину», и там-то Андрей встретился с О. Ю. Шмидтом. Андрей Абашидзе вернулся в Тбилиси как раз перед открытием Первого съезда писателей. Именно этой одиссее моего брата я посвятил свою «Балладу о спасении», которую в 1933 году перевел Борис Пастернак.

Появление на трибуне Отто Юльевича Шмидта было встречено участниками съезда восторженной овацией. На трибуне стоял человек богатырского сложения и поистине героического облика.

Так вот, именно О. Ю. Шмидт, математик и физик, начал с писательской трибуны разговор о мастерстве. Он, правда, говорил о научных проблемах, однако все это, по его собственным словам, относилось также к литературе и искусству: «История науки показывает, — сказал он, — что наиболее творческие эпохи в развитии науки не знали и не ставили перед собой проблему «чистого» и прикладного знания. Я сам представитель «чистой» науки и хочу подчеркнуть, что и самое лучшее проявление «чистой» науки, которую мы отнюдь не отрицаем, вырастает на той почве, когда теория и практика едины».

Ораторы, выступавшие на съезде, немало говорили потом об этой проблеме. По выступлению Шмидта, по настроению, им созданному, по атмосфере, царившей в зале, а вскоре и по основным положениям доклада о поэзии все уже чувствовали, что здесь завяжется спор, выражаясь языком ученых, о возвышении «чистой науки», ее «амнистии» и выдвигании на передний план, о том, чтобы добиться равновесия между нею и «приклад-

ной наукой», вместо того чтобы идти по пути дальнейшего поощрения последней и принижения значения первой.

Мне, естественно, лучше запомнились речи грузинских делегатов. Тициан Табидзе верно заметил, что борьба за качество не может «не перекинуться» на литературу, поскольку она неотрывна от жизни. Он высказался ясно и категорично: спекуляция на актуальности темы столь же неприемлема в советской литературе, как и формалистическая эквилибристика.

Помню, как взволнованно говорили о мастерстве Леонид Леонов, Юрий Олеша, Борис Пастернак, Николай Асеев, Николай Тихонов, все те, кто действительно имел высокое право говорить об этом.

Борьба за качество... 50 лет назад! Есть над чем задуматься.

Глубоко запечатлелось в памяти выступление другого выдающегося грузинского писателя—Михаила Джавахишвили: «Мы должны стремиться к синтезу, повышать качество, учиться, учиться... Сама агитация сегодня должна быть иной...» Между прочим, М. Джавахишвили привлек внимание слушателей к опубликованному в те дни в московских газетах наказу читателей одной из библиотек Ростова-на-Дону Первому съезду писателей: «Пишите больше о любви, браке, рисуйте картины быта, не преувеличивая, но и не умаляя его роли... Дайте яркие, незабываемые образы героев нашего времени, положительных и отрицательных. Мы против схемы... Пишите простым, правильным языком. Учитесь этому искусству у буржуазных писателей».

Можно сказать, что весь съезд прошел под лозунгом «За высокое мастерство», и этот лозунг лучше всех образно обосновал в своем выступлении известный русский беллетрист Леонид Соболев: «Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно — право плохо писать». Как известно, эта формула не только неоднократно повторялась на Первом съезде писателей, в том числе самим Максимом Горьким, но и по сей день сохраняет все свое значение и актуальность. Съезд единодушно объявил войну плакатности, схеме, халтуре.

Первый съезд советских писателей стал форумом, на котором впервые был поднят вопрос о качестве литературной продукции и мастерстве писателя.

Однако случилось так, что поэты, против которых было, по существу, направлено острие такой критики, вознамерились прикрыться именем Маяковского; этому способствовала и явно ошибочная позиция некоторых докладчиков в оценке творчества великого поэта революции. Критикуемые поэты воспользовались

породила идею творческого метода, метода социалистического реализма, который и был признан на съезде основным методом советской литературы.

УДК 82.09
ББК 84.090.000

* * *

Перед моим взором, подобно кинокадрам, сменяются ораторы, занимавшие съездовскую трибуну в течение двух недель, с 17 августа по 1 сентября. Вокруг двадцати пяти докладов и докладов в прениях выступили более двухсот ораторов со всех концов нашей необъятной страны и из-за рубежа. Многие из них ушли, ушли даже мои ровесники, — а что уж говорить о таких, как Гюстав Инар, участник Парижской Коммуны, которому тогда было 88 лет. Он поднялся на трибуну с помощью Ильи Эренбурга и сказал: «Несмотря на преклонный возраст... несмотря на физическую слабость, я молод и крепок сердцем. Я всегда и везде с вами делю радость борьбы и ваших достижений в великом строительстве социализма...»

Особое внимание привлекали иностранцы, гости съезда. На наш съезд приехали лучшие представители зарубежной литературы: из Франции — Луи Арагон, Андре Мальро и Жан-Ришар Блок; из Германии — Эрнст Толлер, Франц Вайскопф и Оскар Мария Граф; из Испании — Рафаэль Альберти и Мария Тереза Леон; из Чехословакии — Витезслав Незвал; Мартин Андерсен Нексе из Дании, Якуб Кадр из Турции, гости из Китая, Японии... С некоторыми из них я неоднократно встречался после съезда, а кое-кто побывал в Грузии через многие годы на 800-летнем юбилее Руставели. Почти сорок лет спустя после съезда встретился я вновь с престарелым турецким писателем Якубом Кадром; он пригласил меня к себе домой в Анкаре и с благоговением показал фотопортрет Максима Горького, подаренный ему великим русским писателем в те далекие съездовские дни. Он с гордостью считал себя другом Максима Горького и с большой теплотой вспоминал Первый съезд советских писателей.

И впрямь незабываемые дни! Полвека прошло, а я все еще слышу тот гул в Колонном зале Дома союзов...

Действительно большой, действительно неслыханный доселе разговор состоялся на этом съезде о положении литературы и искусства, их дальнейшей судьбе не только в Советском Союзе, во всех его республиках, но и на всей планете, и можно с уверенностью сказать, что этот разговор во многом определил их будущее.

Первый съезд советских писателей стал поистине съездом века.

Известному грузинскому поэту Хута Михайловичу Берулава исполнилось 60 лет.

Редакция журнала «Литературная Грузия» сердечно поздравляет юбиляра и желает ему новых творческих успехов.

Поэт не так давно завершил вторую книгу поэмы «Русское сердце». Книга выходит в издательстве «Мерани». Предлагаем нашим читателям главы из поэмы.

РУССКОЕ СЕРДЦЕ

КНИГА ВТОРАЯ

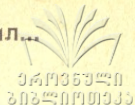
ОТ АВТОРА

Кто понял сталь, узнал ее язык,
в том и огонь великих сил возник!
Огонь добра, со злом вступивший в бой,
в котором все герои вырастали.
О, если б люди знали цену стали,
мартен бы мог для многих стать судьбой!

Характер закаляет сталь. Она
вот этим и особенно ценна.
Мужает человек и крепнет с ней,
и вместе с тем скажу: в виду имейте,
добрее сталеваров нет на свете,
отзывчивее нет и нет нежней!

За их сердца, за их мечты полет
я славлю этот огневой народ!
Тех, кто бредет по улице толпой,
любого, с кем глаза в глаза я встречусь,
кто город, чьи пути-дороги — вечность,
хоть самой малой одарил тропой.

Кто заступ самым первым в грунт вонзил...
Чтоб первым быть — немало надо сил!
Кто начал, кто продолжил, кто вставал
до света и работой землю славил,
кто трудовую армию в Рустави
своим примером пламенным позвал.



Кто первой плавки крестным стал отцом,
кто и сейчас с сияющим лицом
пятидесятый вспомнит славный год
и, от воспоминания добра,
двадцать седьмое давнее апреля
с восторгом непременно назовет.

Кто начертал на первом чугуне
послание потомкам, всей стране,
чтоб в час грядущий, через сотню лет
услышали они, как раздается
тот звон, которым счастье их куется,
их дней рассветы, радости расцвет!

Хочу восславить я людей стальных
и в полный голос говорить о них.
Не меркнет к ним в сердцах у нас любовь.
Тут Гигиберия и Метревели,
и Панцулая, и... да, в самом деле! —
я назову вам Метревели вновь.

Я не ошибся: так, а не иначе,
Фамилия—известнейшая в Раче!¹
Кто проложил здесь самый первый след,
сразившийся с пустыней мирный воин, —
он слова наилучшего достоин.
Воспеть его — твой долг святой, поэт!

...Так думал я, возвышенно, светло.
И вдруг, как будто радости назло,
на небесах мечты раздался гром
и молнии запольхали блики,
и парус всех надежд моих великих
поник, и овладел моим нутром

¹ Горный район в Западной Грузии.

сомненья дух, и спросил меня,
одну лишь только истину ценя:
у всех ли здесь и мысли, и дела
имеют одинаковые свойства,
для всех ли характерно здесь геройство?
А может, чья-то роль совсем мала?

Как разрешить с самим собою спор?
На побратима устремил я взор.
Привык я доверять ему давно,
привык решать с ним трудные вопросы.
Вот и сейчас найти ответ непросто...
И мне ответил Телиа Ваню.

НЕОЖИДАННЫЙ МОНОЛОГ

...Брат мой, поэт, тебе навряд ли я
сказать сумею что-нибудь такое,
что всколыхнется вся душа твоя
и стих польется мощною рекою.

Ты не чужой, ты здесь не в первый раз.
Поговорим без патоки хвалебной.
Плохие люди тоже есть у нас,
как сорняки бывают в ниве хлебной.

Вот, скажем, зависть... Это ль — не беда?
Еще какая! Хитрая и злая.
И можно излечиться не всегда
от зависти... Таких лекарств не знаю.

Завидуют тому, кто любит труд,
тому, кто смело чувствует и мыслит, —
всегда чему завидовать найдут...
Завидуют тому, что независтлив!

Завидуют, как будто бы врагу,
тому, кто за других отдаст и душу...
Особенно терпеть я не могу
проклятую породу равнодушных!

Они молчат, когда готовит враг
тебе удар... Что им — твои заботы?
Попал в беду — гадают: что и как? —
хотя прекрасно знают, кто ты, что ты...



Похоже равнодушие на ток,
из проводов, оборванных бесцельно,
стекающий... Кому он, чем помог?
Отвратна злоба, доброта бесценна,

но только равнодушием нас бьют
так больно, что не заживает рана,
и, если откровенно предадут,
то это даже лучше, как ни странно!

Все знают — эта истина проста —
во имя и во славу человека
страданье, мудрость, доброта, мечта
бездушие корчуют век от века.

И чтобы от него остался прах,
чтоб мерзость равнодушия исчезла,
его руками преданы бесчестно.
герои погибали на кострах.

Я это говорю — и как во сне,
который злая выткала тревога,
видением больным на память мне
приходит Цицамурская¹ дорога.

Тот девятьсот седьмой далекий год...
Остановилась почему карета?
Кто скажет? Кто виновников найдет?
Кто мог — и все ж не защитил поэта?..

Он вышел бы, чтоб не стряслась беда,
из экипажа — там, где ветви скрыли
убийцу... может, дрогнуло б тогда
оружие в руках Бербичашвили!²

¹ Дорога, на которой был убит великий грузинский писатель Илья Чавчавадзе.

² Убийца Ильи Чавчавадзе.

Ну почему, скажите, отчего
такую жизнь ветра судьбы задули
и не нашлось на свете никого,
чтобы прервать полет безбожной пули?!



...Он лишь добра Отечеству хотел,
к добру душой и словом звал крылатым.
Неужто сердца доброго удел —
быть на кресте страдания распятым?

Но, кажется, я грань переступил
запретную, беседа с тобою.
Великую трагедию сравнил
я с малою своей сердечной болью.

Ты говорил, что я — живой заслон
от всех возможных бед, от всех печалей....
Ты видишь: уж не так-то я силен.
Как все, волнуясь. И не сплю ночами...

Но в этом, брат мой, тоже суть моя.
Железными нас, люди, не считайте!
За то, что душу открываю я,
и ты прости, и пусть простит читатель...

...И СОЛНЦЕ ОЗАРИТ ТЕБЯ, КАК ЖЕНЩИНА...

Ходить вам приходилось босиком?
Зеленый луг. Весна. Вдруг — грохот. Гром.
И — черными, тяжелыми, могучими
заслонено внезапно солнце тучами!

В лесу смолкают птичьи голоса.
Пугает птиц идущая гроза.
Вот-вот польется дождь обвалом синим.
И цепенеешь ты птенцом бессильным.

Погонщик что-то прокричал во мгле.
Темно, как в преисподней, на земле,
Гром, молния — обыденные вещи...
И все ж их в страхе ждешь и весь трепещешь.

Но тут, как чья-то добрая рука,
сместит свободный ветер облака,
и засмеешься, радостно, доверчиво,
и солнце озарит тебя, как женщина!

Бывает так: предчувствуешь беду,
в приметы веришь к своему стыду.
Ведешь себя как будто обреченный.
Зло путь пересекло твой кошкой черной!

Ждешь худшего. Померк весь белый свет.
И даже и зерна надежды нет.
В мозгу нет светлой мысли ни единой.
Рисуешь только мрачные картины.

И вдруг, по воле собственной притом,
придет какой-то незнакомец в дом.
Откуда взялся? Для чего пришел он?
Чтобы развеять сон тоски тяжелой!

Так и в тот день случилось — верь, не верь...
Звонок. Пошла, открыла Маша дверь.
И гость вошел. Его не ждал, не звал я.
Закро Ревазишвили в нем признал я.

— Ты что-то грустен в это утро, брат.
Да не гляди — как будто мне не рад.
Не с неба я упал метеоритом...
А ну-ка, улыбнись, не будь сердитым!

Тебе доставил письма я, Ваню.
Так больше не грустишь ты, решено?
Так вот, Ваню, в сегодняшней газете...
Но прежде прочитай ты письма эти!

От автора:

Показывал Ваню мне письма те.
Я кланяюсь святой их доброте.
Ростки добра! Они так много значат.
И светлыми слезами радость плачет...

ПОСЛАНИЕ ПАРНАОЗА ХВЕДЕЛИАНИ



Сперва два слова о себе самом:
возле развалин крепости Ариша
живу я. Здесь у нас намного тише,
и полон света и надежд мой дом.

Про все успехи ваши знаю я.
Я восхищен тем, как растет Рустази!
Я радуюсь его счастливой славе,
и больше не болит душа моя...

Все так же Революция идет!
И так же свет сражается со мглою,
добро — с любой темной силой злою, —
семнадцатый великий длится год!

И это будет до поры, пока,
как выстрелы «Авроры», в сердце каждом
не загремит набатом эта жажда:
всем дать свободу, счастье на века!

Прошу простить меня, коль голос мой
покажется немного нервным, что ли.
Но много в сердце горечи и боли...
Путь нашей жизни не всегда прямой...

Я — коммунист, и этим я горжусь.
Когда-то пострадал за правду тоже,
и потому всерьез меня тревожит
все то, о чем сказать сейчас решусь.

Меня тревожит Телиа Вано!
За доброту испил он горя чашу...
Быть может, хоть немного горе скрашу
посланием, задуманным давно.

Какой-то скорпион излил свой яд...
Тут самое стальное сердце, братцы, —
оно же сердце! — может растеряться,
хоть человек ни в чем не виноват.

Ведь вы носили на руках его!
Так почему — он все же не из стали! —

наедине с бедою он оставлен,
как будто не случилось ничего?



Хочу сказать я тем, кому народ
вручил судьбу грузинской нашей стали:
вы что-то невнимательными стали
к тому, кто людям эту сталь дает!

Вы вспомните среди всех забот и дел:
стал деревенский мальчик сталеваром,
работал, славу заслужил не даром,
а ложной, дутой славы не хотел.

Он рос, как рос Рустави молодой,
достоин среди лучших из ста тысяч,
чтоб его имя на скрижалях высечь,
на памяти истории седой.

И что же видит Телиа Вано?
Как с чужаком, с ним стали обходиться.
Молчат бездушно... Это не годится!
Не дружба это, вам скажу одно.

Как будто позабыли про него
сотратники, друзья его бывшие.
Выходит, всех сильнее наветы злые,
и клевета справляет торжество?!

Неужто разобратся тут нельзя?
Опутали сомнения? И что же?
Свой собственный покой всего дороже?
Где ваша совесть, бывшие друзья?!

Он — ваш товарищ, труженик, ваш брат.
Коль солнце для него на миг затмила
беда, плечо подставьте! Ваша сила
нужна ему, чтоб все пошло на лад.

Пока не поздно, надо вырвать страх
перед судьбой, перед дорогой сложной,
которая порой тропинкой ложной
вдруг обернется, нам готовя крах...

Ах если б мог я что-то сделать сам!
Но, может быть, вы это излишнее
поймете... Парнаоз Хведелиани
с надеждою и верой пишет вам...



...КАК ИСПОВЕДЬ ПОБРАТИМОВ...

Речь пойдет не о святом.
Человек — в цеху, не в храме...
Речь пойдет сейчас о том,
Как работали все с нами...

Врозь мы не были ни дня,
вместе путь прошли мы долгий,
вместе азбуку огня
изучали мы на Волге.

И покинули иных,
а с иными — вместе снова.
Мы учились делу их,
закалялись у Фролова.

Впрок пошла наука та.
Вместе все несли на грузки
украинец Лихота
И Булгаков, парень русский.

Каждый похвалы достоин,
кто Руставиану начал:
Роберт Пелиа, эстонец,
молдаванка Нина Марчель...

И Ваню расправил крылья
в дерзком трудовом кипенье.
Только путь ему закрыло
злых завистников шипенье!

Все не эдак и не так,
замечания, поправки...
Кто-то бросил слово «брак»,
оболгал такие плавки!

А потом — молчанья лед,
что обидней брани втрое.

Оттеснили прочь и вот —
позабыли о герое.

Мы, друзья, как все вокруг,
онемели, вроде, тоже.
Что нуждается в нас друг,
нам казалось непохоже...

Справедлив его упрек:
мы в нем друга прозевали!
Он теперь от нас далек,
не подходит, презирает.

На «отлично» варим сталь,
ну а в чем-то — как в тумане.
Лишь сейчас нам ясен стал
Зелимхан Джинчвелиани.

Как не поднялась рука —
и ведь истину спасли б мы —
осадить клеветника
и приспешников трусливых!

Тех, кто лишь на сплетни смел,
тех, кто искренен лишь с виду, —
все сошлись там, кто имел
хоть бы мелкую обиду...

От автора:

Не дочитал письма я. Неприятно.
К тому же все и так уже понятно...

Разъяснение Телиа:

Закро газету развернул, а там
на фотографии — мартен, а вот я сам,
Я обнял гостя дорогого нежно,
и вновь открыла двери мне надежда!

ПОТОМКАМ — ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

Потомок, удивляться ни к чему!
Прими посланье к веку твоему.
Свой на металле начертали след,
чтоб повстречаться через сотню лет.

Писали это с думой о тебе
и о своей работе и борьбе.
Пронизанное трепетом любви,
сердечное послание лови!

Нас всех грузинский вырастил народ,
и это слово он сейчас берет.
Он много и вражды, и горя знал,
но никогда себе не изменял.

Знай: родила земля твоих отцов
и Руставели, и других певцов.
Звался Рустави много лет назад
Бостан-калаки, то есть — город-сад.

Таится горе в древних письменах:
«Сейчас здесь все повержено во прах!»
«Ариши» крепость древняя звалась...
Вот воронье над ней кружится всласть!

Палящий ветер и пустынный зной —
таким он был когда-то, край родной.
Покуда... Но Рустави сам тебе
расскажет о мятущейся судьбе.

Когда б не предка славного борьба,
такую и осталась бы судьба.
Когда бы не помог нам русский брат,
достался бы тебе не город-сад,

раскинулся бы тут и вдаль, и вширь
огромный, нескончаемый пустырь.
Потомок, взором радостным окинь
простор земли, небес высоких синь.

И улицею Сигуа¹ пройди —
ей все конца не видно впереди...
Проспект Шарадзенидзе пред тобой.
С руставской тоже слился он судьбой.

В саду Гомелаури² отдохни.
Повсюду дети. Счастливы они!

¹ Георгий Сигуа — один из первых сталеваров Рустави.

² Николай Гомелаури — первый директор Руставского металлургического завода.

Аллея Георгадзе¹ широка,
как будто бы весенняя река.

А вот — Кашакашвили Николай².
Себе судьбы такой же пожелай!
О, как умел он укрощать металл!
Ну а теперь он памятником стал.

Здесь — Грузии прекрасные сыны,
что навсегда отечеству нужны.
С землей родной их верные сердца.
Нет и не будет жизни их конца!

И чтоб руставцем полноправным стать,
ты должен всем им должное воздать.
Взволнованную чашу подними,
поговори с прекрасными людьми!

И, смысл деяний их сумев постичь,
родной народ всем сердцем возвеличь!

* * *

Писали мы в надежде и отваге
и не на древе, и не на бумаге.
На стали вырезали, чтобы слово
дошло до вас живое из бывшего...

СВАДЬБА В КОЛХЕТИ

Было далеко еще до ртвели,
лето неумное цвело,
но уже дела вокруг кипели,
ожидало пира все село!

Женщины готовили со страстью,
кухни источали аромат,
право, каждый причаститься счастья
был всем сердцем, всей душою рад.

¹ Нестор Георгадзе — начальник строительства Руставского металлургического завода.

² Николай Кашакашвили — ученый-металлург, первый главный инженер завода.

Сверхдовольно и вина, и дичи.
Циклаури — тоже ведь не лень! —
на охоте, что отцов обычай,
побывал, и вот трофей — олень.



В каждом доме жарили, варили,
в каждом сердце праздник, поручусь.
Добрые слова мне говорили...
Я не мог сдержать счастливых чувств.

Молодые парни фехтовались,
но с Габро, с хевсуром, с ним одним
состязаться парни не решались,
только выхвалялись перед ним.

Под дубком Темур, Арчил и Гури
пели... Песня — мать всех начал.
А Тедо с любовью на пандури
эту же мелодию играл.

Тишины ледок прозрачный сломан
предвкушеньем праздника хмельным.
Радостный стоит повсюду гомон,
разносимый ветром озорным.

Моя Маша—Марика смеется
и уже успела всех пленить.
Кажется, ей все же удастся
по-грузински что-то объяснить.

Дети веселиться не устали,
и все наши собрались уже.
Только гости с Волги опоздали...
Что-то беспокойно на душе.

«Ну чего ты опускаешь руки?
Свадьба! Значит, добрых жди вестей!
Ну, а гости... Встретит крепость Рухи
самой первой дорогих гостей!»

В это время появилась Дали.
(Мать джигитов славных четверых):
— У ворот все те, кого вы ждали...
Так встречайте вместе с Машей их!..

Зять и дочь подходят: Шалва, Мзия.
Всех нас первый ждет вина глоток!
Русские же гости дорогие
опоздали все-таки чуток.



Перед братской встречей сердце бьется.
Наступает долгожданный срок.
И ружейный выстрел раздается
в честь гостей, ступивших на порог!

Бабушка тарелку положила
на пути... Так свадьба встарь велась.
Зять ногою на тарелку живо
наступил... И песня полилась.

А когда, к небесной взыв лазури,
стихла песня, Маша и друзья
прикоснулись к двадцати чонгури...
и опять захлеснут счастьем я!

СЛОВО ИВАНА ФРОЛОВА

Гость в руки турий рог берет,
для тоста славного встает.
Чонгури нежный звон утих,
и тост звучит, как будто стих:

— Быть человеком может тот,
кто землю матерью зовет,
чей взор распахнут и кому
добро чужое — ни к чему.

Прекрасен он, ваш край родной,
обласканный морской волной.
Как не любить, как не беречь
божественную вашу речь!

А память ваша глубока,
уходит в давние века
и от богатства своего
не потеряет ничего.

Бывали в прошлом счастья дни,
и были дни беды, войны.

Свои знамена, как глаза,
вы устремляли в небеса.

Не унимались мысль и дух,
огонь ни разу не потух
святой надежды... В строках книг —
добра и мудрости родник.

Вы имя Грузии везде
писали: в вихре бурь, в беде...
На небосклоне, как заря,
оно горело, свет даря.

И не мала, и не скудна
мужала мудрая страна.
На лихолетьи всех дорог
враг погасить ее не мог.

Без Грузии мы б не смогли
так ощущать цвета земли.
И жизни пульс не так стучит,
коль сердце Грузии молчит.

В большом Отечестве она
любовью всех одарена
и всем по-братски отдает
долг родственной великий тот.

Да будет путь ее согрет
любовью братской сотни лет!
Я всей душой ее люблю.
Я за ее бессмертье пью!

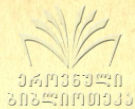
ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ КНИГЕ

Кое-кто напрасно полагает,
что поэмы время истекло,
вот, мол, и строка моя сникает,
умолкает, дышит тяжело.

Не лжесудьям, что словам лжесложным
бесконечный курят фимиам,
верим мы бессмертным и неложным,
четким руставелевским словам.



Не в глухой запершись цитадели —
в гуще жизни, трепетной, живой,
слышим и сегодня Церетели,
он для сердца, для природы — свой.



Пушкина строка не заржавела,
Гете с нами снова говорит...
И взывает к нам Важа Пшавела,
и презреть поэму не велит.

А иные все лжемудрость сеют
(кто-то даже верит им, а жаль!),
что поэма — экспонат музейный,
старомодный и ненужный жанр.

Я поэму защищать не буду —
можно дуб с листвою осязать...
Только бы пылало жизни чудо,
только было б людям что сказать!

Книга братства, честно родилась ты
и росла день ото дня не зря...
Так живи, свети и годы здравствуй,
детище любви и Октября!

Говори про все, что жжет и гложет,
Веселит и радует тебя.
Злоба ничего сказать не может,
даже и зародыш чувств губя.

В небо фейерверком счастья взвейся,
славь борьбу и воспевай мечты!
Будущему до конца доверься,
как земле и стали веришь ты.

ОКОНЧАНИЕ

С вышки времени вижу я поле в июльском огне...
Не забыть первых дней и палаток тех праведных мне!
Родилась неожиданно первая книга в тот час.
Со второй все никак не могу я расстаться сейчас.



Может, что-то иное все грезилося в юности мне,
есть другие заботы и в этом стремительном дне,
но уже столько лет и во сне, и вполне наяву
жизнью сильных и добрых героев Рустави живу!

Кто ребят деревенских сумел научить плавить сталь,
тот героем страны, человеком достойнейшим стал.
Моя Грузия! В яростных буднях борьбы и труда
не теряла ты братства прекрасных людей никогда!

Крепость нашей груди — как скалистая твердь, и она,
как начало начал, вдохновениям нашим дана.
Я кончаю поэму, стихи собираются в том —
и единым, стальным станут две моих книги листом...

27 июля 1980 г.

Перевод Риммы КАЗАКОВОЙ




НАИРА ГЕЛАШВИЛИ

ОКНА



Новелла

И ТОГДА она ска-
зала: 

— Вот когда в том он
не погаснет свет, на са-
мом верхнем этаже, ис-
чезну, уйду на край све-
та. Какой это этаж?

— Десятый.

«Уйдешь, уйдешь, —
стучало у него в голо-
ве,—а что еще? Уйдешь,
чтоб не сойти с ума или
не расплакаться, как
тогда случилось с тобой.
И кто не ушел бы на
твоем месте? Два года
тебя не было. Уже три
часа как сидим здесь, а
я и двух слов не сказал
тебе. Какое уставшее ли-
цо, как посмотрела на
меня, когда открыл те-
бе дверь. Надеялась, все
переменится, тот кошмар
не повторится. Запыха-
лась, взбегая по лестни-
це, целый город как буд-
то гнался за ней, с ревом
и воем, как свойственно
преследовать городу.
Обняла, зарылась лицом,
как будто вот так наме-
ревалась остаться навеч-
но. Но сейчас уйдет, как
только там погаснет свет.
Потому что взглянула
на меня и так же беззвуч-
но: «Скажи что-нибудь».
Как будто находилась на
границе гибели и мои сло-
ва могли спасти ее от
смерти, от жизни, от все-

Перевод Лили ЛАБАДЗЕ

го, от чего должны быть спасены мы и все... А я си-
жу как околдованный и опять ничего не могу сказать.
Уходи, уходи, так лучше будет. Что я делал эти два
года? Знаю, спросишь. Был мертвый. А что я должен
был делать? Правда, я всегда был мертвый, давно мерт-
вый, и явно ощущал: рот мой забит песком, и я в
могиле, где кто-то когда-то был похоронен, казалось,
в глазах моих колыхалась трава, и от этой травы
исходил дух моего детства... Ведь еще совсем ре-
бенком я незаметно умер в одиночестве. И
это была, все это была мертвость — с детства до
тебя. Но пришла ты, пришла и началось чудо: мертвый
начал молодеть, его годы стали уменьшаться, он не
ожил, но превратился в недавно умершего, в нового
мертвого, которому земля чужда, он беспокоится, и
жизненные воспоминания так мучают его, что иногда
даже плачет... Сперва вернулись ко мне боли, все
старые раны приоткрыли рты, из этих ран пробива-
лась жизнь. Мукой, слезою, вихрем всех переживаний
просыпалась, выходила она, как колючее и красивое
растение. И это приближение к жизни сквозь долгое
пребывание в смерти повергло меня в ужас. Что, если
не выдержу, разобьюсь, не дотянусь до края, откуда
уже доносился шелест деревьев и от листвы веяло
ароматом твоих волос. Все, что забыто, погребено, от
чего отказался и что отверг, надо было принимать за-
ново: желания, даже с самым малым из которых рас-
стался еще в детстве, ожидание, но что оно означа-
ет, ведь уже не знал, страх, страх, что не сумею до-
ставить радость, беспокойство и все то, что есть
жизнь... Тем временем ты ушла, и я ждал, когда за-
скрипит могильная дверь. Ты же находилась здесь, уже
была во мне, но ты хотела знать это... догадывалась, но
хотела услышать, как ты была там и что с тобой про-
исходило. Хотела услышать... В себя не впускаешь, так
ты сказала, не открываешь двери, ибо я все так же
безмолвствовал. «Скажи мне что-нибудь, скажи что-
нибудь». Но слова, слова... вернуть их оказалось самым
трудным... последнее, что должно было случиться с
этим мертвым... Но слова еще были так далеки, далеко,
у меня их не было, я не мог... И стояла тишина...
ты не вынесла этого и ушла».

— Ты что-то сказал?

— Нет.

— О чем думаешь?

— ...ни о чем.



«Свыклась, что нет смысла спрашивать, но все же спрашиваешь. Хочешь попытаться еще. Спасибо. Как рассказать? Даже не помню, как началась эта история: слова. Слова, как убежали они от меня. Нет, я прогнал их. Сперва испугался... слов... потом возненавидел... Очень одинок я был тогда, в детстве, и они душили меня. Как завидовал своим сверстникам: некоторые боялись собак, некоторые машин или привидений... я же боялся слов... потому что видел: одни слова тарасили глаза, другим свело рот, иные хихикали, показывая мне свои желтые языки, иные вопили, иные хохотали... иные, извиваясь, потрясали коварством, иные—отвратительно водянистые, бесцветные и холодные, как белок,—оставляли в воздухе мокрые пятна... Они принимали облик тех, от кого их слышал, кто произносил их. Хотя бы та наша соседка, которая выходила на балкон и, стоя среди расцветшей мальвы в утреннем халате, с белым лицом и желтыми волосами, закатывала глаза и говорила: «Какое чудесное солнце». А от каждого ее слова я содрогался, как от удара, ибо слышал, как кричала она на свою старую мать. Она выводила ее, подталкивая локтем, на общую веранду. Или уходила куда-нибудь, или оставалась там же, в комнате. Старушка же сидела согбенная в цветах мальвы, согреваясь в лучах солнца, до самого вечера. Много, очень много времени проходило, пока ей открывали дверь. Так вот, когда она с улыбкой восклицала: «Какое чудесное солнце!» — эти слова мне казались жуками, вываленными в слизи ее рта... Ночью жуки приползали, залезали мне в уши, садились на глаза... Или какой смысл имели слова, которые порой произносили наши соседи: «Как мерзко, как бесчеловечно она ведет себя», — ведь ничего не менялось! Так было тогда, в нашем старом доме... Там началось. Там многое случилось. И мама радовалась, говорила, что избавилась от этой проклятой соседки, что не коснулись нас ее проклятия, бог спас. Она имела в виду соседку, не эту, другую, комната которой находилась рядом с нашей, с другой стороны.

На веранде у нее стояли большие бегонии, лоб этой женщины был повязан ослепительно белой косынкой, а из-под косынки сверкали черные глаза. Какой ужасный, холодный огонь, боже мой, холодный как лед огонь извергали они. Она всегда стояла, прильнув к окну, и поджидала меня. Целый день ждала. Завидев меня, она тут же принималась причитать: «Чтоб не видеть тебе радости, чтоб не видеть тебе радости, чтоб тебя не посетила радость, чтоб не удостоился ты жизни». Боязно мне было, но не сердился, больная она была. У нее умер ребенок, тогда и сошла она с ума. Я родился, а через некоторое время умерла ее дочь, и соседка навечно вбила себе в голову, что это я виновен в ее смерти, что я поглощаю ее долю воздуха, воды, солнца, что я занял ее место, а раз уже занято все пространство, солнце и воздух, я не должен был появляться. Но я появился и ее девочку выгнал, выжил, столкнул прямо в землю. Я всем ее обделил, все ее поглотил, бедной уже недоставало воздуха, тепла, она увядала и таяла... а я полнел, мой рот был набит ее вишнями, в моих карманах лежали ее карамели... И вот так стояла она у окна, иногда приоткрывала дверь, чтоб я лучше мог слышать: «Не видеть тебе счастья, не видеть тебе счастья...» Боже, как предана была она своему ребенку. Всю жизнь после смерти девочки она ведь уже ничего не делала, никуда не ходила, ничего не читала, не отдыхала, она полностью отказалась от жизни и только боролась... боролась с врагом и погубителем ее ребенка, с маленьким хищником-похитителем... боролась как могла... Порой от бессилия у нее по щекам катились крупные слезы, она плакала, что у нее ничего не получалось: я ведь рос... Но она тут же собиралась с силами, и в дебрях бегонии, за окном, опять сверкали ее глаза. Какое чудо, что я не воспламенился от ее взгляда, не превратился в пепел, когда вперевалку шлепал по веранде или двору. Потом мне часто казалось, что ее косынка опалилась. Но косынка сверкала, глаза блистали, а я рос. Я уже боялся ее ужасно, все время держался за мамину руку. Но хорошо помню, ненависти к ней я не испытывал. Понимаешь? Ты понимаешь. Она была так права,

Наира Гелашвили. Окна.

так неподкупна в этой своей борьбе. Глаза у нее совсем ввалились, стали не видны, только из глазниц вырывался огонь... Но главное—из всего, что я слышал во круг, ее слова были самыми настоящими: они имели смысл. К сожалению, этот смысл заключался в том, что я должен был оставить жизнь... Поэтому, хотя они и приводили меня в ужас, я испытывал к ним уважение и не помню, как покорился им... А тем временем боролась и моя мама. Она пыталась поместить ее в психиатрическую клинику. Звонила, писала, бегала, но тщетно. Оказалось, что легче сойти с ума, чем попасть в сумасшедший дом. К тому же она-де никому не причиняет зла — и не взяли... Моя мама объясняла то там, то здесь, что та проклинает ее сына. Говорили: «Как можете обращать внимание, неужели верите в проклятия?» Мама возвращалась обескураженная. А вечером на небольшом, покрытом белоснежной полотняной скатертью столике она зажигала свечу. Едва покачиваясь, пламя освещало лик маленького Христа, прижимавшегося к груди своей матери. Словом, настало время договариваться матерям. Одна молилась за своего умершего ребенка, другая—за живого. Я с надеждой взирал на мерцание свечи, но, вспомнив сверкающие глаза нашей соседки, начинал сомневаться, что наша свеча победит. В такие минуты дитя богородицы принимало черты лица умершей от дифтерита девочки. Понимаешь? Между тем я уже уверовал, что живу за другого, что нет у меня своего места на этом свете, что мне ничего не принадлежит. Твердо поверил, что я виновен. Поздно догадался, что это не только заслуга нашей несчастной соседки. Более того, она вообще здесь была ни при чем. Разве не говорили мне другие то же самое? Разве вся моя жизнь не подтверждение тому? Тогда откуда же пришло в голову моей соседке, что можно жить без места? Ведь все вокруг только и старались делом и словом, чтоб не удостоился я радости. Разве это не то же проклятие? Но даже те, кто не проклинал меня, не способны были меня благословить. Хотя желали мне и добра, и спасения, но их слова были такие водянистые... совершенно бессильные, коль ничего не менялось. Я подрастал и знал, что виноват почему-то, что живу вместо друго-

го, что не имею никаких прав, а раз никаких прав не имел, то не понимал и своих обязанностей. И кругом стоял бессмысленный шум, давно сошли со слов громкие наводящие ужас маски, которые в детстве лишали меня сна. Теперь только лопались вокруг белковые пузыри, раздавалось их трескание, оставляя в воздухе слизистые пятна. Слова уже меня не пугали, просто ничего не значили, были мне отвратительны, я не хотел слышать их. Страстно желал: хоть бы уши и мозг могли так же закрываться, как глаза, и стремился добиться этого. Наконец удалось: повернул выключатель—и мир умолк. Стояла могильная тишина... уже здесь, в этом доме, где ты сейчас сидишь и задыхаешься от этой тишины. Моя мать добилась, и мы переехали сюда. Она же плакала, наша соседка, ибо что теперь она могла совершить для своего ребенка? Единственного дела — и того она лишилась, ее жизнь потеряла смысл. По-моему, она даже любила меня как смысл своей жизни. Но она ведь никогда не догадалась бы об этом. В ту пору мне уже исполнилось одиннадцать, и, когда сюда, в этот дом, мы въехали, мама окончательно поверила, что ее свеча восторжествовала, поскольку мы ушли оттуда благополучно, ничего со мной не случилось, машина меня не переехала, рук и ног я не сломал, не ослеп, был здоров, и «той проклятой» бормотания не возымели силу. Целый и здоровый ребенок в новом доме. Но душа? Свеча моей мамы туда не смогла проникнуть. К счастью, ибо увидела бы, что этот ребенок изувечен, неспособен радоваться... Я же, у которого ничего не оставалось, кроме тишины, иногда хотел пойти к нашему старому дому, подойти к моей соседке и сказать, что дело свое она сделала, что смело может посмотреть в глаза своей дочери, и считал бесчестным, что никак не собрался туда. В нашем доме молчание постепенно уплотнялось. В один из дней решил вообще онеметь. Слова ушли. Пропали. Обнаружил, что прекрасно можно жить и так. О чем говорить? Не о чем. Ощутил освобождение. Думалось, нашел свое место: мог не услышать и оглушительного гвалта. Меня окружала могильная тишина, эту тишину не нарушал и я: без-

молвный в безмолвии. Это было мое владение. Мое сокровище. Мое достояние. И кто знает, может быть, и мой мятеж. Мне было жаль мою испуганную мать и одно-два слова из уважения к ней выдавливал из себя: «да, нет, не знаю, ничего»... Потом мама умерла, я собрал и эти слова и отдал ей с собой. Таким предстал перед тобой. Откуда мог я знать, что ты придешь, что какие-либо слова следовало сохранить в себе, ибо тишина не заменит слова, как слово не заменит тишину?»

* * *

— Кто живет на том этаже, за тем окном? — снова обратилась она к нему.

— Не знаю.

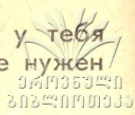
«Знаю, любимый, знаю, что страдаешь, но и у меня нет больше сил. Что делать? Что? Что? Что? С тобой не могу, без тебя не могу, скажи что-нибудь. Скажи мне что-нибудь, не молчи все время. Целый день. Целую неделю. Целый месяц. Целую жизнь. О, боже мой... сойду с ума. Тихо сойду с ума. Как погаснет там свет, уйду. Убегу. Пропаду. Потом? А ведь помню, как увидела тебя первый раз на улице... пораженная смотрела... Неужели возможно, чтобы в глазах стояло такое спокойствие, когда вокруг все бурлит, грохочет, сотрясается, мчится и падает? Откуда пришло это прочное и давнее молчание, которое душа создавала годы и бесчисленное множество мгновений. Ты стоял, и твои глаза светились такой безмятежностью, что время задержалось в их зеркале и не уходило. Мне казалось, ты благословлял город. Пока твое странное спокойствие сохраняло эту неподвижность, я думала: не погибнет наш город, наша стремительно скатывающаяся жизнь. Я и сейчас так думаю. Но какой, оказывается, ценой скоплено это молчание. Видимо, я не должна была прикасаться к этой тишине. Я не в состоянии ее вынести. А ты? ты? Неужели ничто не радует тебя? Неужели уже ничего не болит у тебя? Никогда не вырвется зов, стон, крик? Скажи что-нибудь. Говоришь глазами. Но глаза всегда прикрыты. Как странно ты опускаешь веки, будто прошло огромное время, целая вечность, и тяжелые занавеси опустились... Скажи что-нибудь...»

— Что ты делал эти годы?

— Ничего.

«Как она собирается с силами, чтобы еще сказать что-либо. Хочет, чтоб я прорвал молчание и вышел... Я тоже хочу. Но как? Как скажу: «Люблю тебя, останься со мной»? Как мог сказать? Я же ничего не имел, кроме тишины. Что мог принести? Что мог обещать? Когда человека спрашиваешь, как он живет, ведь если ему плохо, надо помочь. Если помочь не можешь, зачем спрашиваешь, почему надо спрашивать? Каждое слово — обещание. По какому праву скажу — останься со мной, ведь любви нужна Вселенная, а вокруг загородь, зона обезьян и бизонов. Если умрешь, не смогу, наверное, даже похоронить тебя. Потому что для этого, вообще для всего надо идти к ним или стать обезьяной, или бизоном, или и тем и другим вместе. Вот так, поняла? Но я все же хочу сказать тебе в конце концов. За последнее время такой громкоголосой стала тишина, что порой она слышится мне криком. Я хочу тебе сказать, сказать все, рассказать, как и рассказываю молча. Но эти слова я должен заново обрести в себе. Неприкосновенные, наинovelейшие, сверкающие, такие, какие еще не сказаны. Хочу пробить в этой замурованной тишине одно окно, чтобы взять эти слова на руки, как малых ягнят, и выйти из этого окна... Погоди еще немного. Помогите. Но если в том окне сейчас погаснет свет, она уйдет... и все кончится. Интересно, кто живет за тем окном? Вот подошел какой-то мужчина. Похоже, молодой. Смотрит на дома. Вроде сюда смотрит, в нашу сторону. Послушай, кто бы ты ни был, не усни, свет не гаси, понимаешь? Вспомни что-нибудь, что-нибудь такое, что не даст тебе спать—вину или любовь: вспомни чью-либо смерть или как когда-то мучили тебя, вспомни, кого ты прогнал или кто избавился от тебя, кого ты обманул или кто тебя предал... Или, быть может, напишешь стихи. Не пишешь стихов? Напиши стихи, друг. А может, тебе надо написать письмо, которое столько времени ждут. Вспомни, не засыпай, эту одну ночь пожертвуй нам, хотя не знаешь меня и ничем я не заслужил. Не спи, свет не гаси... пусть горит свет... Ты устал? Вот посылаю тебе все мои силы—возьми, взял?

Послушай: ты не устал, ты не хочешь спать, у тебя есть работа, ты должен сесть и работать, тебе нужен свет, ты не погасишь свет».



* * *

— Усни, сын мой, уже поздно.

— Который час?

— Часы остановились. Погоди, выгляну в окно. Поздно, сказала ведь. Уже полночь будет. Везде погашены огни, только один горит, напротив нас. На седьмом этаже.

— Не спится мне, мама. Немного еще посижу так. Что-то писать захотелось.

— Напишешь днем. Не нарушай своего сна. Давай потуши свет.

— Хорошо. Только повремени немного. Сердцем чувствую, обязательно должен начать писать почему-то... Знаешь что, когда и в том окне погаснет свет, лягу, не беспокойся. Вот отодвину занавес, чтобы увидеть. Ты иди, спи. Как только там погаснет свет, я лягу, хорошо?

«О, сыну моему делается плохо, когда он не может уснуть. Сейчас начнет писать, потом порвет, искромсает, выбросит. После лицо его запылает, и начнет кричать, что все закрыто, забито досками, заделано, законопачено, закупорено и, кто знает, что еще. Потом испугается, не запер ли кто дверь снаружи. Утверждает, что некоторые вечно заняты этим делом: тихо подкрадываются и двери снаружи запирают. У всех сердце обрывается, не взламывают ли их дом, не снял бы кто двери и прочее..., а он... откроет входную дверь и так оставит. А потом кричит... Уже наизусть знаю его слова: «Всё хотят запереть! Мошенники, всю жизнь делают ключи. Золотые, серебряные, железные, фарфоровые ключи... Маленькие красивые ключики, большие, огромные замки, как велит случай. Лишь появишься на свет, все от тебя запирают. Иногда с улыбкой и золотым ключом, иногда с ревом и железным замком. И наконец ты сам, щелк! — и уже заперт. Ключ заржавеет прямо у тебя на лице, душе... И не вспомнишь, когда и как они умудрились это сделать. Когда спал? Когда был маленький и доверчивый? Когда сидел в школе за партой и считал минуты? О, какое нужно внимание!

Ведь главное в том, чтоб нас не заперли. Будьте бдительны, друзья, чтоб не проглядеть замки. Так мастера они прячут их под книги, под цветы, под все, в партах, в шуме аплодисментов и слов. Остерегайтесь. Близко не подпускайте этих грязных фокусников, ибо в один прекрасный день обнаружите, что незаметно вас заперли... Стоите умолкшие, онемевшие, одеревеневшие, стихов не напишете, не споете, о танцах смешна сама мысль... смешна, потому что вы не в состоянии просто нормально двигать конечностями, а ну-ка взгляните на себя со стороны: ковыляете, как связанные, сами не верите, что идете, и озираетесь кругом, как преступники...» О, боже мой, закричит так, тысячу раз подойдет к двери и прислушается... В прошлом году было, все хуже и хуже становилось ему... Вообще не знал покоя... он все ходил, ходил и говорил. Я просила его, умоляла и уговорила... С врачом повидалась заранее, рассказала, какой он честный, какой с детства чувствительный, о том, что писал стихи... рисовал... потом... потом как-то незаметно началось... Однажды вдруг он испугался закрытого ящика стола, мгновенно открыл... стоял некоторое время перед ним и смотрел... Потом его стали приводить в ужас закрытые двери, окна... Все открывал и так оставлял. Открывал сундуки, шкафы, ящики, все, что открывалось и закрывалось... Я говорила долго, врач слушал меня внимательно. Приведите, жду, сказал. Мы пошли. Лучше б не ходили. Он сперва сидел тихо. Спокойно отвечал. Затем, уже не помню, кто-то что-то его спросил и... начал. Один из врачей записывал, потом дал мне.

«...Во Вселенной все открыто, батонэбо¹. Все. Только мы забыли войти. Войти доверчиво, не торопясь, не ворваться, а войти. В течение всей жизни, всей жизнью, когда вход не цель, но это уж дело другое. Да, другое дело. Я же доложу вам, что открыты трава, камень и небо, батонэбо. Почему же от нас всё запирают, как ящики? Почему в конце концов и нас запирают в ящик, на котором наши фамилия и имя написаны сна-

¹ Батонэбо — вежливое обращение к мужчинам.

ружи, да, снаружи, что уже и нам ни о чем не говорит! У снов наших тоже низкий потолок. Подвал! Что меня беспокоит? Фокусники размножились, батонэбо, чудодеи, грязные жонглеры, виртуозы своего дела. Как великолепно исполняют они свои номера. Щелк! Щелк! Не слышите? Не услышали? Они мастерски нас закрывают. Закатывают, как консервы, чтоб никогда не стали мы походить на растения: ни созреть, ни прорасти, ни расцвести. И так умираем, не успев зацвести... Когда же пора нашего цветения? Где она осталась? Мы пропустили наше цветение, дорогие калбатонэбо¹ и батонэбо, расцвет души. Мы — закатанные банки или коробки! А ну, попытайтесь и снимите железную крышку—из кого вырвется вольная песня? Хрипим, воём, бормочем, разве когда-либо мы действительно пели? Сильный номер подстроили нам, дорогие друзья... И катятся коробочки, и ударяются друг о друга, трах... бух... бах... Какой отвратительный звук. Как загрохочут, когда столкнутся друг с другом! Они думают, что встретились, беседуют, слушают, слышат. Встреча! Беседа! Слушание! А в действительности бах! бух! Две коробки врезались одна в другую... измяли друг друга, придавили. Вот так-то, дорогие коробочки! Но какое странное консервирование! Внутри все плесневеет. Заплесневело ваше детство. Какая таинственная, розовая с белым пушком плесень покрыла его, так плесневеет кизилковый кисель. Зеленой плесенью покрываются мечты, серебряные сны. Медленно начинают отдавать затхлостью, медленно, чтобы не очень бросалось в глаза. И глаза, дорогие батонэбо, какие высохшие и затхлые...» Врач сказал, положение серьезное. После того он какой-то заторможенный. И только тогда заволнуется, когда начнет писать. И сейчас с ним так произойдет. Измучается. Изведется. Хоть бы ему совсем не хотелось писать. Почему не смогла прикрыть тебя собой!.. Во сто глаз и ушей следили за тобой я и твой отец... Откуда пришло, когда подкралось, как поглотило тебя это несчастье, что мы не заметили. Боже, боже... Постелю ему постель. Может, погаснет свет там, на седьмом этаже, тогда он обязательно ляжет, не обманет. Пока все еще зажжен. Те

¹ Калбатонэбо — вежливое обращение к женщинам.

женщина и мужчина сидят у окна. Дверь на балкон открыта. Женщина обвила голову руками. Мужчина сидит и смотрит сюда. Опять они сидят все так же неподвижно. Не разговаривают. Как будто окаменели. Кто они? Что с ними происходит? Что с вами происходит? Что с вами случилось? Бог да поможет вам, погасите свет. Мой сын не выносит бессонницу. Не выносит писание. Заболеет. Боже милостивый, погасите свет.

* * *

«Помню, говорили, уходи. Мама говорила: выходи из комнаты, не будь здесь, не беспокой меня, иди, играй, потому что она все время лежала, кашляла и кашляла... Однажды я обняла ее—она вся пылала—и, не сумев спровадить меня, ударила по щеке. Потом прошло время, немного времени, а когда я прижалась к ней, лицо ее уже было холодным, лежала она неподвижно, не смогла бы ударить... Под подушкой у нее нашли мое платье и рубашку... Потом отец привел другую женщину и сказал: уходи, для тебя так лучше будет, и отвел меня жить к маминой сестре. Так было лучше для меня и потому... Прошли школьные годы... Тетя говорила мне: иди, ты уже большая, должна идти своей дорогой. Это было «уйди», а как будет «останься»? Как звучит «останься, не уходи»? Что происходит в это время? Говорили, говорили и мне, но если не скажет тот, кто хочешь, чтоб сказал, это то же, что никто не говорил... Потом, когда на дворе без конца моросит... тоненькие струйки дождя с окон стекают прямо в сердце... кажется, что в комнате все предметы бросает в дрожь, как тебя, что все вещи тихо всхлипывают, ночная лампа, горящая над раскрытой книгой, и та не спасает... ни дымящийся в чашке горячий чай, и какую бы музыку ты ни включила, тут же выключишь, потому что заскорузлая скорбь и одиночество так прочны, что ничего уже не впускают в комнату... и сбежишь. Уйдешь к тому, который рад тебя видеть, но о котором не тосковала ты... Не стосковавшись, обнимешь и станешь убеждать себя, что все так, как должно быть, и что чувствуешь себя хорошо... Но после, когда лежишь и прячешь голову в его плечо, чтоб ничего не видеть...

секунды растягиваются, тяжелеют и, как капли дождя, бьют в виски, тебя охватывает дрожь и стыдно тебе, что он счастлив рядом с тобой... И мечтаешь ты, о рас- свете в своей комнате, в темноте одеваешься и бежишь, думаешь, что назад уже не вернешься... Но время про- ходит, а время ведь болезнь... грусть возобновляется, за- ново рождается дождем и ветром, сумерками и листо- падом... Чувствуешь... тихо исчезаешь, вытекаешь из жиз- ни, хочешь—хотя бы кто-нибудь увидел, запомнил, что и у тебя было что-то красивое, не кто-нибудь, а тот, в ком остаться хочешь... Но к тебе прийти не могу, потому... потому что ты ничего не говоришь. Мы все больны, и больше уже нет у нас сил. Неужели сегодня так же будешь? Скажи, где ты был, откуда идешь?»

* * *

«Хоть бы еще немного времени они не гасили свет. Я еще не закончил. Боже мой, я пишу. Идут мои стихи. Так долго задыхались они где-то во мне... Несчастные мои строчки... Какой-то странный свет возник в моем мозгу... Спокойствие... Не бойся, мама, знаю, сейчас из окна ты смотришь на их окно. Я не так уж болен, как тебе кажется. И ты чужими глазами видишь меня... никогда не пыталась увидеть моими глазами, только жалеешь... Знаешь, как все несложно получа- ется? Просто я вижу, ясно вижу то, что и другие знают, многие знают, но они лишь знают, а я вижу, толь- ко и всего. Если бы я говорил это стихами, они не бы- ли бы болезнью... понимаешь? Но чтобы писать стихи, надо быть немного больным... Стихи ведь видение... и показывание... А я становлюсь очень болен, когда ни- кому не могу объяснить, что вижу, что происходит... и кричу, понимаешь? Но сейчас... сейчас минуты мило- сердия... Не торопи, не торопи ни меня, ни их свет... Еще немного, и последние строки будут написаны. Уж знаю навверное. Спешка, которая вечно мучает меня, обуздана... и я знаю... мои строчки останутся здесь, на этом чистом блестящем листе, в вечной яви. Наконец открылась, все же открылась дверь. Свет все горит. Спасибо».

«Я уснула. Уже светает. Что случилось? Где мой сын? Листы не шелестят, не слышно и скрипа стула.

Где он? В постели его нет! А они? Что происходит? У них все так же горит свет. Боже мой, мужчина дер- жит руки женщины и говорит, женщина головой скло- нилась к его руке... как будто плачет. А где мой сын? Какая тишина. Видимо, его комната полна обрывков, листков... Не сделал ли он чего с собой?.. Боже, ус- нул... ничего не изорвал. А это что? Им написанное. Спокойным, четким почерком написано, как в детстве писал, бывало. Его стихи? Что?

«Видимо, кто-то молился кромешной ночью.
И выплакал свою последнюю слезу,
И истратил свои последние силы...»

Он спит и во сне улыбается. Но это сейчас. Это се- годня. А завтра? Послезавтра? Потом? Разве больше не придут запирать дверь? Не станешь открывать ящики и шкафы? Не будешь кричать? А те так же будут раз- говаривать? Больше не окаменеют в том окне?»



Галина ГУРУЛИ

В КОНЦЕ НЕДЕЛИ— ОТДЫХ

●
Повесть

~~~~~ ● ~~~~~  
Галина Гурули — Галина Ноевна Миндадзе — с 1956 г. работает в области художественного перевода грузинской прозы на русский язык. Публикуемая повесть «В конце недели — отдых» — ее первое прозаическое произведение.  
~~~~~

НА ЭТОТ раз Геля пропала на десять дней. Превозмогая самолюбие, Олег все-таки пошел в общежитие: там, толкуя что-то невразумительное, ему всучили номер телефона, по которому он тотчас и позвонил.

— Попросите Ангелину.

— Она занята, а кто ее спрашивает?

— Олег. Передайте, я подожду, — сказал он и снова почувствовал себя неуютно, как в общежитии, где только что побывал и где обитали рассеянные, большей частью хлипкие парни и девицы, громогласно нараспев читающие свои сочинения.

— В чем дело?—спросила Геля.

— Надо встретиться. Сейчас, немедленно.

— Нет.

— Может, ты объяснишь, что все это значит? И кто этот хмырь?

— Который подходил к телефону? Никто. Работодатель.

— Я просто хочу понять, как ты можешь быть домработницей?!

— Ты безнадежно отстал. Я читаю детям «Муху - Цокотуху». Ты

просто помешался на престижности.

— А ты на пижонстве.

— Послушай, чего тебе надо?

— Интересно, что ты матери рассказываешь?

— Это мое дело.

— Представляю, если она узнает. С вашими-то нежностями.

Олег представил себе Гелину мать, Тамару Георгиевну. Только сегодня утром он звонил к ним, и Тамара Георгиевна ответила, что Геля ушла в библиотеку заканчивать рецензию для издательства. Олег знал, что никаких дел с издательством не существует, Геля почти всегда находилась у него; в его отсутствие, пока он был на работе, читала книжки или писала, но не статьи, а стихи.

— Иди домой, пожалуйста, — сказал он.

— Не в моих правилах подводить людей...

— Обойдутся.

— У нее вечером спектакль.

— Пусть мужик посидит со своими детьми!

— Мы так не уговаривались.

— Нашли дуру! Или, может, он тебя охранять будет?

— До свиданья!

— Не смей вешать трубку! Ты меня разлюбила? Да или нет?!

— Разве можно все определить? Надоели твои гири-гантели, твои причесочки перед зеркалом...

Олег не отвечал. Да, он следит за прической. Все следят. И принимает душ через день. Да, он считает, что лучше с пользой проводить время, нежели ошиваться среди поэтических придурков. Да, он нешуточно увлечен силовой гимнастикой, даже купил двухпудовую гирю! И заметно преуспел, преодолевая килограммы и наращивая мускулатуру. И, между прочим, работает...

— Вы все убогие, — наконец сказал он. — Спорт — это мышечная радость...

— Кто все?

— Ваше кодро из общежития! — ответил он и тут же яростно припомнил — так случалось и раньше, когда Геля внезапно исчезала; так было заведено между ними с самого начала. После занятий, которые

Олег тоже посещал в качестве вольнослушателя, Геля отправлялась в общежитие, набегал народ и началось то, что Олег именовал хаосом.

— Еще немного, и ты будешь жечь книги!

— Скажи хозяевам, что уходишь, или я сам поднимусь.

— Ничего нельзя изменить, мы упустили время.

— Не время, а времяпрепровождение. Твое времяпрепровождение. Я-то всегда тебя любил.

— Какие страсти.

— Подожди. Как же ты можешь так говорить...

— А что я должна, по-твоему, делать?! До свиданья! Кстати, я уезжаю.

— Далеко?

— Посмотрим.

— В Гагры? И, конечно, с Зоечкой?

Зоя, подмосковная Гелина подружка, должна была прийти на следующий день с чемоданом, и Геле предстояло объяснить матери цель поездки, при том, что цели никакой не было.

Обдумывая ситуацию, Геля ждала Тамару Георгиевну у выхода из метро. Она часто встречала мать, когда та возвращалась домой после вечерних занятий.

Тамара Георгиевна увидела стоящую в джинсах и с сумкой через плечо Гелю и взмахнула рукой.

«Осунулась, под глазами синяки», — отметила она про себя с чувством привычного беспокойства.

— Как дела?

— Порядок, мамуленька!

— Ну пошли! Ты видела Олега? Он просил передать, что звонил...

— Ага, виделись... Да, самое главное, — вдруг вспомнила Геля, — мне сказали, все утрясется! Что наверняка есть шанс... К концу семестра, когда будет отсев.

— Геля, — Тамара Георгиевна остановилась и повернулась к дочери. — Геля!

— Мамочка, честное слово! Меня зачислят, и я стану знаменитым поэтом, то есть поэтессой...

— Геля, — Тамара Георгиевна не двигалась. — Человек обязан хоть иногда посмотреть на себя...

— Со стороны! — закончила Геля и пошла вперед.

Тамара Георгиевна не стала догонять ее. И когда Геля остановилась около «Жигулей» попытаться счастья, где под прожектором прямо из машины торговали спринт-лотереей и, наступив на ворох надорванных бумажных пакетиков, перемешанных с бледно-желтой от электрического света листвой, купила билет, Тамара Георгиевна, не останавливаясь, прошла мимо через арку к своему подъезду.

— Мама, подожди, — закричала Геля, — я выиграла!

Тамара Георгиевна вошла в подъезд.

— Mamочка, ко мне перед отъездом на юг, — сказала вслед ей Геля, — зайдет Зоя, ты не против?

— А что ты вдруг спрашиваешь? Пусть заходит, пусть едет.

Все подготовлено, подумала Геля, поднимаясь вслед за матерью по крутой лестнице, — дом был без лифта, старой постройки, стертые мраморные ступеньки тянулись вверх бесконечной спиралью. Зоя припала отгулы, получалось немало дней. Что касается ее, Гели, то она пока еще вольная птица: захотела — поехала!

А и в самом деле, отчего бы не пожить на море в нелюдный нежаркий месяц? Надо встряхнуться, Зоя тоже прождала Митю весь август и весь сентябрь. Кажется, нетрудно было вычислить заранее, что придется ехать одним, без молодых людей! Ну ничего, поплаваем в одиночестве, постараемся для своей красоты, как говорит Зоя...

Денег у мамы не брать. Обойдемся своими заработанными. В конце концов жалко маму. С мамы предостаточно всех этих выдумок про рецензии, про мнимые издательства! Какие рецензии, если ты никто! Вранье, а что делать?! Конечно, все образуется, будет стипендия, а пока что нужны деньги, нормальные деньги на потребности взрослой девицы. Для этого, пожалуйста, можете поработать, разумеется, тайно поработать. Например, подрядиться по объявлению на столбе... Всем известно, что любой труд украшает человека, а услуги нынче недешевы, бытовка всех доконала. Но для мамы все должно быть тип-топ.

Галина Гурули. В конце недели — отдых.

Остальное, то есть про Олега, мама знает, если не досконально, то, по крайней мере, имеется общая точка зрения, без ханжества. Была бы любовь, считает она. А по мне — не было бы скукотищи... И бесплодных телефонных сражений.

— Ты решила расстаться с Олегом? — в ответ на ее мысли вдруг спросила Тамара Георгиевна. — Не скоропалительно ли?

— Что ты, мамочка, мы уже старички, у нас стаж... Посмотри на других, не хуже нас люди...

— Ты хочешь сказать, что все вы в общем не сильно-то отличаетесь друг от друга? Дружно отращиваете бороды, разводите, тотально изнашиваете джинсы... Даже пьете все одинаково — до умопомрачения...

— Всегда была богема... — Геля подождала мать, которая поднималась медленно, не останавливаясь.

— Какая там еще богема?! — возмутилась Тамара Георгиевна. — Богема — это служение музам, богема — это принципиальная бедность! Где они, эти новаторы, обитатели чердаков и мезонинов? Вечерами разбредаются по общежитиям, а днем с похмелья толкуются у кофейного автомата?

Геля улыбнулась, представив знакомое кафе.

— Нет, мамуленька, новаторы имеются, невзирая на отсутствие мезонинов! Просто у каждой эпохи свой колорит...

Тамара Георгиевна все-таки остановилась. «Раньше, — подумала Геля, — раньше мама одним махом взлетала на наш последний этаж. Правда, давно это было. Прошумело время над ее головой...»

— Надо меняться на квартиру с лифтом.

— С тобой поменяешься, — Тамара Георгиевна отдышалась и поднялась на следующую ступеньку.

Наконец последний поворот, за ним — дверь, родимый очаг.

А приезд Зои, кажется, не в жилу, подумала Геля, стоя рядом с матерью и ожидая, пока Тамара Георгиевна, отыскав в сумочке ключ, откроет дверь. По всему сейчас лучше бы пожить дома, с мамой.

Зоя спешила, солнце спускалось к горизонту, было ослепительно светло, но еще каких-нибудь четверть

часа, и все вокруг теряет четкость, от земли потянет пронзительной прохладой, и нежная голубизна, неясная, сотрет слабый отсвет зари.

«Все равно», — в такт каблукам отозвались досчатый настил мостика и расшатанные железные ступени. Все равно, все без разницы, думала Зоя. Десять тысяч шагов ежедневно обязан пройти каждый человек, если хочет быть в форме; так считают японцы, они-то уж знают! Пять — туда, на работу, пять — обратно, тысяча шагов на километр... Что ж, походим, постараемся для своего же здоровья, и зимой не побоимся, и через лесок, и тропой вдоль пересохшего ручья...

Пройдя мимо оврага, она вышла на прямую, наполовину заросшую травой дорогу: отсюда рукой подать до села.

Тут скоро все забуреет, усмехнулась она, дома заколочены, ветшают, на некоторых даже деревца выросли. Жители всеми правдами и неправдами поустраивались в Москве. Воронам раздолье, орут с утра до ночи... А у меня домик исправный, ничего не скажешь, исправный. Спасибо тетке, позаботилась о дарственной...

Прежний дом сгорел, как только не стало родителей — умерли они совсем молодыми. На погорелье бабушка выращивала огурцы и тыкву, и помидоры, и без всяких хлорвинилов и целлофановых парничков, а вся семья мыкалась по селу без пристанища. Огородище был ой-ой! И корову держала старушка для малолеток...

Потом тетка вышла в председатели, ей дом и выделили, не сразу, разумеется. И вот уже теперь, перед смертью, вызвала она своих сельсоветских. Пришли, не отказали по старой памяти и при свидетелях оформили документы.

С братом, понятно, теперь все кончено. Но должен же он помнить, как тетя не переносила Маринку! Как привел ее, с первого раза не показалась, даром что москвичка. Вот и не упомянула его в завещании. А самого Валерку тетка любила, даже очень выделяла. Все импортные рубашки покупала ему...

Денежная была женщина, экономная, продукты

через сельсовет брала, но не хватала, знала меру, понимала что к чему! И в техникум определила, белым халатом сагитировала. Работа, верно, не пыльная, не ртуть тебе и чертишь... И на завод потом устроила в город. Походишь, уговаривала, ноги молодые, а там и автобус пустят до села!..

Так и хожу по сию пору, ноги бью, автобусу теперь и возить-то некого!

А вот о том, что женщине одеваться надобно, понятия не имела... И о том, что в доме должно быть прилично, не догадывалась.

Как стояла неохватная печь, та, что первый хозяин, раскулаченный скорняк, для своих нужд сложил, так и осталась стоять. После войны, говорят, в доме мудрили с махоркой, артель была. В селе тогда много народу жило, все старались как-то восстановиться.

Осталось в доме разной рухляди навалом: что в сельсовете списывали, тетка домой несла. Побитые шкафчики да креслица, еще из шереметьевского имения. Как разбогатею, реставрирую резной столик грушевого дерева, тот, что стоит в галерейке. На нем еще капусту рубили. Не разбирались... Митя говорит, нынче все увлекаются антикварным, да так, что голову теряют! Не все. Гельку, например, никакой вещью не возьмешь, но таких мало... Лично я непременно верну гирляндам и завитушкам прежнюю их красоту, найму для этого краснодеревщика. Как только выберусь в город. Выберусь в город, а в дом буду ездить, как на дачу...

Хотя, по всему видать, квартиры от завода не жди; все знают, что имеется жилплощадь. А про десять тысяч шагов никто не думает...

А про то, как от мороза сами по себе стреляют и стонут деревья, про то, как придешь, а в доме нетоплено, и топить некогда, а завтра чуть свет вставать! Только и остается, что вскипятить чайник на плитке, заварить чай, залить в резиновую грелку воды погорячей и — в холодную постель! Да разве наколешься дров на такую махину, разве напасешься... Не Митю же звать, показывать ему диво. Он, поди, деревенской печки и не видывал!

Но с печкой всё! В прошлую субботу доломали... Демьян Степаныч очень сокрушался — из этих, покрях-

тывал он, кирпичей можно три голландки сложить, а тепла все одно со всех трех меньше будет, чем с той, со старой! Вот пусть и складывает печечку, чтобы грела и места не занимала. Сложит, если не подведет по пьянке! А топить — брикетами, выписать на заводе...

Все это чепуха, не об этом сейчас думать надо, а о том, как бы наконец использовать свой отпуск, восстановиться. Митя неверный, прождала его все лето... Но время еще есть — двинемся с Гелей на море, приведем себя в порядок.

Зоя поднялась на крыльцо, пошарила рукой, потянула задвижку — дверь медленно, звучно отворилась. Не зажигая света, она вошла в комнату.

Наверху, в самой середке, там, где проходит печная труба, виднелся темный плат неба, усеянный мелкими, слабенькими звездочками.

На другое утро Олег ждал Зою возле проходной. Прохаживаясь у подножия больших тополей, окаймлявших асфальтовую площадку, ступая по твердому глянцевитому слою листьев, он вспомнил, как они с Гелей зимой в Терсколе столкнулись с Зоей, где она тоже отдыхала по заводской путевке. И как он познакомил их. Теперь Зоя — уже самая близкая Гелина приятельница, а он вопреки здравому смыслу торчит здесь и чуть ли не просит Зою замолвить за него словечко... А вот и она!

— Ну что, подруга, опаздываем, как всегда?

— А ты походи-поезди с мое, Олежек, увидим твою точность-аккуратность! Меня ждешь? А я уже на курорте!

— Поехать мне с вами, что ли?

— Ты-то? А руководить кто будет?

— Нина Васильевна. Сегодня должна вернуться, за серебром посылал.

— Эта для тебя из-под земли достанет и серебро, и золото!

— Каждого должна любить хоть одна женщина... Так слушай, вы всерьез собрались?

— А что? За Гелькой небось наострился...

— А то, что мы с Дмитрием тоже едем. Вчера

ночью звонит, часа в два. Мы, говорит, с Андреем гу-
дим на аэровокзале, приезжай! Нет, отвечаю, я чело-
век серьезный, еду к любимой женщине. Раз так, то
ворят, и мы с тобой... Что ты на меня так смотришь?

— Загубит он меня, точно загубит!

— Ты всех переживешь! Едет же человек, чего тебе еще надо? Хотим с вами в Гагры или куда вы там нацелились. Лето-то проходит.

— Прошло.

— Тем более. Ладно, я пошел встречать Нину Васильевну.

— На вокзал, Олежек?

— Зачем баловать, в кабинет!

Нина Васильевна уже ждала Олега в его кабинете — небольшой комнате без окна, бывшей подсобке. Она только что отпустила охрану, с которой ездила в командировку.

Слава богу, избавилась, подумала она. Этот мой сопроводитель глазел на меня с любопытством, возможно, как на эффектное приложение к нашему серебряному дефициту. Само собой, он не явился вовремя, и я, наплевав на предрассудки, сама втаскивала в вагон эту злополучную катушку. Цепляясь за поручни, он все-таки вскочил на ходу со своими авоськами, апельсинами, колготками... Нет, тут уж все ясно! Коли ты ИТР, тебя поджидает подобная история на каждом шагу. И перебеешься, и потягаешь, лишь бы обеспечить. Мы обеспечим, мы не допустим. Не допустит наша выносливость, наша женская чуткость. Вот ведь во что все вылилось, во что преобразовалось! К чему учение, к чему наука, если мы, слабый пол, превратились в оплот, краеугольный камень?! Кадр, охранявший меня, как лицо с ценным грузом, дрых, а я вместо того, чтобы спать в служебном купе, обеспечивала сохранность груза. И что же делать с человеком, если он уснул и спал, пока за окном не посветлело, а проснувшись, ощупывал кобуру, на месте ли, пока машинист не сбавил ход и мы не приехали...

Олег прошел мимо столиков, намертво прикрепленных к пластиковому полу, за которыми девушки в

белых халатах пинцетами мастерили микроприборы, и открыл дверь кабинета.

— Как съездили, Нина Васильевна? — спросил он и широко улыбнулся. — Надеюсь, вы не сами втащивали сюда эту тяжесть, — Олег посмотрел на небольшой, тщательно упакованный ящик, стоявший на стуле.

— Я отпустила человека, не станет же он вас дожидаться. И вообще, когда вы кончите посылать меня в эти дурацкие командировки?

— Пришлось выбивать?

— Конечно.

— Вот видите. Кто ж это сделает лучше вас! Кто ж устоит перед вами?

— Вы думаете?

— Нина Васильевна, у меня к тебе просьба, — неожиданно для самого себя Олег перешел на «ты». — Вот что, мне надо уезжать, и вся надежда на тебя!

— Что случилось?

— Да ничего, обычное дело, отпуск. Лечу в Гагры, надо же когда-нибудь отдохнуть...

— Но ваш отпуск планировался на декабрь.

— В декабре не погреешься!

— А у вас что, подагра? — спросила Нина Васильевна. — Подагру лечат лыжами.

— Не нужны мне лыжи, мне нужно море, да поскорее!

— Не знаю, что и сказать вам, Олег Владимирович. Я ведь тоже лечу в Гагры, ненадолго, правда, у меня отгулы в заначке, мне не откажут.

— Какие Гагры, Нина... — оторопело пробормотал Олег. — Когда вы их придумали?

— Неважно, когда. Не имеет значения.

— Так-так. А приборчики?

— Девочки справятся.

— Понятно!..

Тамара Георгиевна извлекла из плиты пирог с капустой и, слегка потрянув железным листом, выложила его прямо на блюдо. Пирог всегда выпекался к приезду или приходу гостей. Это выполнялось неукосни-

Галина Гурули. В конце недели — отдых.

тельно и Тamarой Георгиевной, и Гелей. Пирог на столе, даже если кроме него нечего подать, все равно залог домовитости, уюта, уважения. И сейчас, когда Геле должна прийти подружка, с которой она завтра же уедет, Тамара Георгиевна пекла пирог. На столе белела скатерть. Осенние пламенеющие веточки в вазе. Надо достать лопаточку для пирога. Она любила опрятно накрывать на стол, даже если ставились всего две чашки.

— Мамуля, ты пойми, это мое последнее беззаботное лето, — говорила, не умолкая, Геля. — Приеду — и всё, и уже на целых пять лет марафон. Верно ведь? Ты не сомневайся, меня примут!

— Наверно, примут, раз ты так жаждешь, — отвечала невозмутимо Тамара Георгиевна. — Надежда, вера — она дает силы. Кто пережил войну, знает это.

Услышав, что по лестнице поднимаются, Тамара Георгиевна пошла открывать.

— Здравствуйте, а вот и я!

Приметная девушка, — разглядывая Зою, подумала Тамара Георгиевна. Глаза, волосы, все — золотистое, медовое... Геля покраше, но и обычной — карие глаза, каштановые волосы, да и тоща... А эта — само здоровье! Впрочем, рука вялая, у них у всех почему-то вялое рукопожатие, рука как селедка, — заметила она про себя и сказала:

— Садитесь к пирогу!

— Я уже взяла билеты, — сообщила Зоя. — Повезло, купированные места. Но это на сейчас! То есть через час. Так что надо торопиться. Да, забыла сказать, мальчики тоже летят. Завтра!

— Какие мальчишки?

— Наши, — улыбнулась Зоя. — С ними сподручнее! Олег, Митя, Андрей.

— Хорошо, — отозвалась холодно Тамара Георгиевна.

— Зоя, мама просто беспокоится... Mamочка, ну, во-первых, Олег, он, наверно, надумал взять отпуск... За компанию с ним Митя Чилингаров и его приятель Андрей... Этих ты не знаешь, мы познакомились с ними зимой в Терсколе.

— Чилингаров... А кто он?

— Как кто? — засмеялась Зоя. — Мальчик!

— Нормальный парень, с бородой, — хитро по-
смотрела Геля, — за Зоей ухаживает. Папа его по те-
левидению иногда комментирует политику...

— В таком случае я папу, наверно, знаю, — ска-
зала Тамара Георгиевна. — Вернее, знала когда-то.
Владлен Чилингаров. Владик...

— Ага, Владлен Артемьевич. Я видела его на эк-
ране. Такой представительный, но некрасивый. А Митя
красивый. Сам черный, а глаза синие-синие!

— Как у его мамы... Девочки, заберите пирог в до-
рогу, весь, целиком!

Был уже третий час ночи, а Тамара Георгиевна ни-
как не могла заснуть, все ворочалась с боку на бок.
Бессонницей она не страдала, к сновидениям относи-
лась отрицательно, считая, что надо быть просто ра-
зумнее, не девочка же, — можно контролировать ве-
черние часы, не готовиться допоздна к лекциям, из го-
стей уходить пораньше... И еще: перед сном не ду-
мать о Геле.

После отъезда девочек она занялась уборкой.
Кухня засияла по-прежнему, и лопаточка лежала на ме-
сте. Теперь можно было и почитать — пришел новый
номер журнала. Тамара Георгиевна легла в постель.
И тут, как по взмаху дирижерской палочки, на нее
обрушились прожитые годы и дни, завихрились воспо-
минания.

Она, тогда еще Тamarочка, Томка, до сумерек
вышла из своего дома.

Дом—когда-то сомнительные гостиничные номера
— был угловой, с большим круглым балконом, выходив-
шим на обе улицы — Николаевскую и Некрасовскую.
Железные причудливые линии решетки теперь скрыва-
ли скарб и утварь нынешних обитателей коммуналки.
Угловую комнату занимали бывший князь и княгиня,
неряшливая пожилая женщина, день и ночь строчив-
шая на машинке трикотаж для артели, в которой ра-
ботала бóльшая часть жильцов. Иногда она выходила
на балкон, чтобы посмотреть, не привезли ли керо-
син. И под немыслимый скрежет заворачивающего за

Галина Гурули. В конце недели — отдых.

угол трамвая с двумя прицепами перекидывалась несколькими словами с чистильщиком Амо, который сидел внизу под платаном и ждал клиентов. Амо много численными детьми жил здесь же, рядом, в подвале, и занимал для всех желающих места в ночных керосиновых очередях. Но это было давно, еще в детстве, когда Тома с матерью после смерти отца перебрались на эту квартиру. Потом очереди исчезли, в городе пустили троллейбус и заасфальтировали старый Воронцовский мост, который находился в конце короткой Некрасовской улицы.

Тома завернула за угол и остановилась у витрины кондитерской-молочной. Содержали ее немцы из «колонии», потомки давних переселенцев; все они состояли в передовых немецких колхозах и снабжали город маслом, медом, ноздреватыми огромными сырами. В кондитерской продавались мороженое, вафли и миндальное печенье. Мама, возвращаясь с работы, часто покупала миндальное, приносила с собой маленькие двухсотграммовые кулечки.

Постояв перед витриной, Тома поспешила вниз, к пекарне, купила половину плоской лепешки и спустилась к мосту. Дойдя до середины, облокотилась о барьер и стала смотреть на воду.

Ей всегда нравилось стоять здесь, особенно раньше, когда она была совсем маленькой и когда еще не был поднят уровень реки и не было бетонных набережных. Тогда на быстрине, на якорях, качались плавучие мельницы, игрушечный паромчик сновал к ним от берега, тяжелая волна сверкала зеленью, просматривались огромные скользкие валуны, и казалось, что плывет мост, а река неподвижна. Вечерами все погружалось в фиолетовую тьму, таинственно мерцали яркие огни на реке, и сквозь неумолчное рокотание пробивались голоса; мельницы никогда не останавливались — ни днем, ни ночью.

Она поглядела вниз: течение было безмолвным, на гладкой мутной поверхности лишь точки водоворотов обозначали медленное бурление. Потом она стала смотреть на горы. В ясную, очень ясную погоду, когда воздух сух и нет заволакивающей дымки, с моста можно было увидеть далекие могучие пики с заснеженными вершинами.

Выйдя к парку Двадцати шести комиссаров, который все еще называли Александровским садом, Тома пошла вдоль решетки вверх по подъему. Подъем упирался в проспект. За большими нарядными домами, казалось, прямо за крышами, на горе застыли трамвайчики фуникулера; там же, в тенистом изломе, красовался белый храм, а под ним — последнее прибежище знаменитого поэта.

Ноги несли ее легко и радостно, от быстрой ходьбы воздух ощутимо обвевал лицо и волосы, начинались сумерки, любимое Томой время дня. Часть хлеба все еще оставалась у нее в руке, когда она заметила Владика. Он стоял на проспекте и ждал ее.

— Ты давно пришел?

— Давно.

— Хочешь хлеба?

— Нет. Скоро будем обедать...

— Тогда я не пойду, неудобно.

— Но мы же все равно идем делать уроки!

— Заниматься, а не обедать. Неудобно перед твоим папой! Ты иди, а я потом приду, пожалуйста, Владик, миленький!

— Очень тебя прошу, пойдем, ты же не обедала!

— Ну и что... Я уже поела.

— Тогда и я не пойду!

— Ладно, пошли. Только мне очень неудобно...

Они пересекли проспект и стали подниматься по верхним улочкам. Томе всегда было не по себе в этом царстве особняков, красивых решеток и четких тротуаров, это были дома бывших магнатов, с вазами и статуями на фасадах. Вошли в прохладный подъезд с наборным мозаичным полом, под ногами поплыли красные рыбы и водоросли стиля модерн.

— Ты сумасшедший, тут нельзя, увидят...

— Никто не увидит, здесь же нет соседей!

— Пусты, пусты! Смотри, какая я стала растрепанная!

— Томка, умоляю, подожди...

Когда они наконец вошли в большую переднюю и, не задерживаясь перед высоким старинным зеркалом с изящным мраморным столиком, оказались в

обширной комнате с неправдоподобно высоким потолком, мать и отец Владика уже обедали.

— Клава, — громко сказала Евгения Мартыновна домработнице, увидев, что сын пришел не один, — подай тарелки!

Тома неловко села на пододвинутый Владиком стул.

— Как здоровье твоей мамы, она, кажется, в больнице?

— Спасибо, ей лучше.

— Нелегко вдове растить дочку, — Евгения Мартыновна вздохнула. — Ешь суп, милая, не стесняйся! Артем, — обратилась она к мужу, — ты бы переделся.

— Ты же знаешь, мне еще на работу.

— Но сегодня выходной, отошли шофера...

Артем Григорьевич ничего не ответил, он сидел в полном облачении: в серой коверкотовой гимнастике без петлиц, в галифе и хромовых сапогах.

— Надо учиться, а не думать про глупости, — вдруг сказал он и поднялся из-за стола.

— Папа, мы занимаемся, — ответил Владик, не глядя на отца.

— Артем, он понимает, что учеба—прежде всего, — заступилась Евгения Мартыновна.

— Идем, — Тома толкнула Владика локтем, — идем заниматься!

— Ничего, сидите, сидите, — проговорил Артем Григорьевич и вышел в переднюю. Через несколько минут из окна донеслось легкое шуршание шин — Артем Григорьевич уехал на работу.

— Пошли, — Тома еще раз толкнула Владика локтем.

— Выпей чаю, милая, — Евгения Мартыновна открыла одну из узких, высоких тумбочек-шкафчиков, которые по тогдашней моде располагались по обе стороны дивана с откидными валиками. Над спинкой дивана была укреплена полка для книг, соединяющая оба шкафчика.

— Тебе нравится наш диван, — заметила Евгения Мартыновна, доставая сервизные чашки. — Удобный. Тут и книги, тут и посуда, все под рукой, стекла зеркальные, на пайках. И дерево какое-то ценное.

— Красное дерево, — сказала Тома и осеклась. «Ну да, это тот самый диван, — пронеслось в ее голове. — Вот и вмятина от карандаша. Досталось же тогда Ляльке за вмятину!..» — Евгения Мартыновна, откуда у вас этот диван? Это же дядин диван! Смотрите, тут даже вмятина осталась!

— Ты что-то путаешь, милая. С твоим дядей я не знакома.

— Да нет же, вмятина, Лялька карандашом провела!

— Владлен, погляди, тут есть вмятина?

Владик подошел к дивану и потрогал пальцем.

— Под полировкой углубление есть, но полировка цела... Не от карандаша это...

— От карандаша, от тупого цветного карандаша!

— Милая, не морочь голову! Идите готовить уроки!

— Давай лучше попьем чаю, Томка! Садись! А диванов таких, наверно, немало, — и, стараясь положить ей руку на плечо, Владик усадил Томку за стол.

Тамара Георгиевна встала с постели, прошла на кухню и, не зажигая света, поставила на конфорку чайник. В окне, освещенный фонарем, виднелся угол двора. Легкий ветерок лениво мел по асфальту осенние листья. Было очень тихо — выпадает такой час ночного затишья, когда нет даже редких прохожих; они появятся чуть позже, около пяти.

Как же она тогда, в тот вечер, не поняла, откуда у них этот диван! Правда, тогда об этом мало кто знал, а кто знал, не говорил в открытую, потому и трудно было понять, невысказано было соотнести. И как же она быстро поверила, что это не тот диван, что такие, наверно, еще есть? Как она могла тогда не вспомнить?!

Диван, шкафчики и откидные валики делались при ней, на казенной даче. Дядя был в зените своей карьеры, на даче разместились все родственники жены и маленькие Томины сестры. Тома жила с ними, как дочка любимого дядинового старшего нелепо под ножом хирурга погибшего брата, и в сущности была на побегушках. Был огромный сад, который тремя сторонами выходил на простор, на взгорье, а одной примыкал к ка-

Галина Гурули. В конце недели — отдых.

кому-то серому забору, оттуда и приходил по утрам старичок-краснодеревщик. Здесь, на веранде, старичок и смастерил этот диван — кустарно, но не хуже тех, что были в продаже, смастерил по модному образцу. Как же она могла это забыть?!

Тем более, что к тому времени, когда Евгения Мартыновна разливала чай в сервизные чашки, дяди Северьяна уже не было в живых. Тома никогда потом не бывала в той, занимавшей полэтажа квартире. Лялька с сестрами где-то ютились, сестры учились в другой школе...

А тут война, и сразу все изменилось. С семьей в глубь Сибири был направлен Артем Григорьевич. Тома с матерью поселилась в деревне у знакомых. С Владиком они даже не попрощались, не успели. Умерла мама, наступили военные тяготы, и не было им конца...

В Москву она попала сразу после войны двадцатилетней девушкой, поступила в университет, на филологический, поступить тогда не составляло труда, надо было иметь только желание. Жила на Стромынке, в общежитии, на стипендию. Продавала карточки на третью — последнюю — декаду месяца, чтобы иметь на что выкупить хлеб. Отоваривалась яичным порошком и калашами; продав их на рынке, там же покупала недостающие талоны на декаду. Удивлялась метро и радовалась снегу, успешно сдавала сессию... Она была уже на третьем курсе, когда на одном из совместных с другими институтами студенческом вечере к ней подошел Владик Чилингаров.

Они сняли комнату на Трифоновке, в служебном корпусе студенческого городка. Корпус этот, или попросту барак, был построен, как и весь городок, еще в начале первой мировой войны для раненых, поступавших на Виндавский вокзал. Бараки примыкали к вокзалу, теперь уже Рижскому; огромные колеса локомотивов, из-под которых шипя вылетали паровые облака, маневрировали прямо под окнами. Простояв три-

35340
312 000 1110333

дцать с лишним лет, бараки считались все еще пригодными для жилья и были забиты до отказа. В служебном корпусе выделялись комнаты по надобности и по возможности всем: и работникам деканата, и уборщицам, и преподавателям, и истопникам самого общежития. Там же проживали те, кто уже ушел на другую работу, на это смотрели сквозь пальцы, шло послевоенное пятилетие, люди приспособлялись, вживались, как могли. Преподавательница театрального института, сдавшая им свою десятиметровую комнатенку с решетчатым окном во всю стену и заметно убегающим, покатым полом, уехала в Монголию укреплять самостоятельность.

Владик числился в общежитии своего института, держал там койку и часть вещей. Надо было скрываться от Артема Григорьевича, который часто наезжал в Москву по делам и располагался в «Гранд-отеле». На служебной, прикрепленной к нему машине неожиданно проводывал сына, удостовераясь, что с учебой все в порядке. Заезжал спешно, не один, а в сопровождении каких-то молодых людей в полувоенной форме. Посидев немного и снабдив сына деньгами, исчезал. В один из приездов он намекнул, что, видимо, в скором будущем семья наконец переберется в Москву. За годы войны и послевоенное время они трижды переезжали в крупные сибирские города, каждый раз с повышением Артема Григорьевича по службе. Переезд в Москву предполагал что-то качественно новое. Владик сказал Томе, что как только родители переедут, а стало быть будет жилье, он тотчас же объявит им о своей женитьбе.

Но Тома слушала машинально, не задумываясь и никак не связывая их с Владиком любовь с тем, что он ей объяснял; она была счастлива и от того, что они видятся каждый день и живут почти что вместе. Казалось, нельзя и желать лучшего: позади голодные годы, отменены карточки, есть какие-то деньги...

Ходили в консерваторию и, примостившись на ступеньках второго амфитеатра, слушали Вагнера, — впервые после войны. На два ряда повыше видели сидящего в валенках Пастернака. В зале давно уже то-

Галина Гурули. В конце недели — отдых.

пили, было уютно, но стояла лютая зима, и он, видимо, приехал так из-за города. Ходили на Шаляпинские музыкальные записи. Тогда Шаляпина и Рахманинова открывали заново. Протискивались в Октябрьский зал, замороженные Яхонтовым, его композициями стихов Есенина и прозы Достоевского, которые тоже были внове, тоже были откровением. В Камерном театре без конца играли «Адриенну Лекуврер» и «Мадам Бовари». В кинотеатрах показывали трофейные фильмы, звучали неведомые доселе имена мировых знаменитостей, на улице Горького открыли коктейль-холл. Жизнь набирала высоту. Томе казалось, что все вокруг, так же как и она, радостно воодушевлены...

Правда, предыдущее лето они с Владиком провели врозь. К Владiku приезжала Евгения Мартыновна, и они уехали в Крым, в закрытый санаторий. Тома оставалась в Москве, и когда вернулась в отпуск хозяйка, она не поехала на Стромьнку, где все было заполнено абитуриентами, а пристроилась там же, на Трифоновке, в другом только корпусе. Жила она в большой комнате, где стояло семнадцать кроватей, вместе с девушками из мордовской театральной студии — они задерживались с отъездом, готовили дипломный спектакль. Девушки, большей частью сельские, домовито варили обед и по пять-шесть человек садились вокруг большой миски, ели, обжигаясь, горячую похлебку и непременно звали Тому. Она присоединялась, тащила какую-нибудь нехитрую снедь.

В углу, за ситцевой занавеской, жила семейная пара. Она, ее тоже звали Томой, исполнительница главных ролей, и он, щуплый, вихрастый, всегдашний ее партнер. Время от времени из-за занавески доносился то шепот, то мгновенно возникающая ссора с потасовкой — прима была ревнива. Девушки осуждающе поглядывали на занавеску, но все шло своим чередом, делились всем, чем могли, и приобщались к искусству...

Владик вернулся осенью загорелый, в новом костюме; снова уехала в Монголию хозяйка, и они опять зажили в своей комнате, просыпаясь по ночам от лязга и свиста движущегося под паром локомотива.

— Томка, это же страшно... И больно, наверно, очень.

— Но по-другому невозможно, ты сам говоришь...
И я тоже знаю, что невозможно!

— А где добыть врача?

— Поспрашиваю у девочек.

— У кого?

— Ну, я не знаю, есть у нас семейные! Таня Народицкая, например. Я спрошу, время еще есть...

— Томка, умоляю, не расстраивайся!

— Ладно. Не я первая, не я последняя.

— Деньги будут сегодня, приехала Лиля, привезла...

— Лиля?

— Знакомая по Сибири, ты знаешь ее. Она еще перевелась из Омского университета на ваш факультет.

— Филологический?

— Ну да, и на ваш курс, только отделение другое. Такая высокая.

— Ага, припоминаю... очень красиво одевается... на английском. Чья-нибудь дочка?

— Угадала! — Владик громко рассмеялся. — Папаша начальник, даже больше моего!

— А она ничего себе.

— Скучная — все по полочкам. Мама от нее без ума, но ты сама понимаешь, мамаша не сечет?

— Ладно.

— Томка, родная моя, не расстраивайся! Все забудется, как сон, не казни меня только...

— А ты-то при чем?

— Ну, в этом уж я не сомневаюсь, — Владик привлек к себе и крепко обнял ее.

Тома вышла из ворот приземистого старинного дома в Кисловском переулке и огляделась. Странно, но ни Владика, ни машины не было в условленном месте. Поясница адски болела, и во всем теле была противная слабость — хотелось лечь тут же, на мостовой. Впрочем, все оказалось не так уж непереносимо, волновалась только, пока шли приготовления. В ком-

нате она увидела небольшой, покрытый белоснежной простыней столик, под ним эмалированный таз. Таня Народицкая — это была квартира ее матери — варивалась с врачом на кухне. Там, в чайнике, бряцало что-то металлическое и кипело. Все прошло, как и положено, и Тома, отдохнув, вышла к назначенному месту вовремя.

Владик почему-то не шел, и Тома, как в тумане, решила идти к университету, где ей было все знакомо и где можно было найти местечко, чтобы посидеть. Мелькнула мысль, что он все равно догадается и придет туда. Вестибюль университета всегда был точкой отсчета их жизни — там они встречались ежедневно. Но сегодня он должен был приехать сюда, чтобы на такси увезти ее домой на Трифоновку. Не в силах больше ждать, она медленно пошла по Кисловке, вышла на Герцена у консерватории и направилась к Моховой.

Обойдя закругленное угловое здание, она поплелась к главному входу, заглянула в фойе на всякий случай и в нерешительности вышла обратно. Она вдруг почувствовала себя лучше — противная слабость пошла на убыль. «Зачем нужно было сюда тащиться? Владик, наверно, волнуется, наверно, поднялся наверх к Тане. Ничего страшного, пусть пострадает, не надо было опаздывать. Но ведь идти обратно все-таки нет сил! Машину бы, а где ее взять?!» В это самое время в университетский двор завернуло такси и остановилось у главного входа, совсем недалеко от Тома. Дверца распахнулась, выпорхнула сияющая Лиля Белова в бежевом шерстяном костюмчике новомодного фасона — рукава кимоно, юбка чуть повыше щиколотки. Из машины высунулся Владик, но не вышел, а долго еще прощался, оживленно что-то говорил. Дверца захлопнулась, машина тронулась. «Поехал на Кисловский...» — ошеломленно подумала Тома.

Андрей проснулся, сразу почувствовал неудобство в ногах, открыл глаза, через иллюминатор увидел облака, под ними море, а над собой никелированную багажную полочку и матово-белую кондиционную установку, из которой прямо в лицо струился холодный

воздух. В проходе салона стояла улыбающаяся стюардесса с подносом.

— Крюшон или минеральную?

— Минеральную.

— А ему?

— Тоже минеральную, — сбросив дремоту и садясь поудобнее, ответил Митя. — Пить хочется...

— А мне крюшон, — Олег отложил свежий номер «Огонька», его укачивало, и он запасся кроссвордами, заранее купив несколько журналов, чтобы отвлечься.

— Мужики, — сказал Митя, — море!

— Давно, — Олег поморщился, не стал пить крюшона и снова взялся за журнал.

— Колхида... Солнце! Любопытно, какая была погода, когда аргонавты пожаловали сюда за золотым руном?

— Красивая, — пробурчал Андрей. — Только уговор — билеты обратно берем сразу, в аэропорту.

— Не факт, — Митя потянулся. — Выспаться бы, но чувствую — не придется!..

— Ты как хочешь, а я улечу вовремя!

— Не дрейфь, ничего не будет... Пятница и суббота — дни индивидуального развития личности, воскресенье бог дал, а понедельник и вторник можно прихватить. Однако перебрали мы вчера...

— В городе может не быть билетов...

— Андрей, не порти кайфа, — Митя закрыл глаза и задремал, лёту было еще минут на двадцать.

Андрей подумал, что зря влип в эту авантюру. Конечно, они были в подпитии, но не бог весть в каком, не более, чем обычно. Скорее всего он поддался Митиному, как всегда неоглядному веселью. Позавидовал раскованности тех, кому, как Мите, выпало ласковое детство и душевно благополучное отрочество, отчего человек на всю жизнь награждается непоколебимой уверенностью в себе и отсутствием комплексов. Соблазнился лететь вот так, куда глаза глядят, на полученную стипендию, которая, как на грех, лежала в кармане. Увлёкся и забыл, что он не Митя, у него обязанности — в понедельник, как штык, надо

быть на первой паре. Об этом проклятом понедельнике все время думал.

И от того, что он вспомнил все это, и от сознания, что надо все время держать в голове тысячу разных вещей, от которых зависит твое будущее, у него испортилось настроение. И тут же привычно возникла утешительная мысль, что это верчение центроостремительных сил рано или поздно (конечно, рано, он выложится!) притянет его к оси, и он войдет в обойму...

Для начала, надеялся Андрей, он сможет остаться в министерстве, где поработал немного, когда проходил практику. Сможет сейчас избежать загранки (кому нужны богом забытые острова в океане или не менее заброшенная сухопутная твердь!) — сможет укрепиться, а затем уже попытает настоящей удачи с выездом за рубеж. Все это в какой-то степени зависело от того, как пройдет экзамен по экономике, вернее от знакомого, который читал экономику и содействовал при поступлении Андрея в институт. Знакомство было материнское, не очень близкое, поэтому надо было понравиться, заинтересовать, а значит, лететь хотя бы ночным рейсом к утренней лекции в понедельник.

Был еще один способ облегчить свои усилия — подумал он и усмехнулся. Жениться. Нормально жениться. Выбрать себе невесту из студенток института. Но это не для него — он слишком ценит любовь.

Самолет пошел на снижение. Митя спал, Олег, отложив журнал, сидел с закрытыми глазами, стараясь не шевелиться.

— Внимание, — сказал Митя, когда они вошли в вестибюль «Абхазии». — А где твои кадры, Олег? Где девушки, заботливо нас встречающие?

В просторном вестибюле было пусто, у администраторской стойки маячили две фигуры — спортивного вида брюнет и светловолосая статная молодая женщина.

— Я не диспетчер, — огрызнулся Олег, он вдруг увидел Нину Васильевну. — Поезд опаздывает, наверно...

— Но здесь покорители вершин! — воскликнул

Митя. — Ираклий-батона, почему ты не в Сванетии? А может ты телепат, потому встречаешь нас, а?

— Мито, дорогой, я всего лишь разговариваю с милой девушкой, помогаю раздобыть номер в гостинице, и ничего не получается. Какой же я после этого телепат! Как я рад тебя видеть!

— Хлопцы, перед вами Ираклий—мой друг, альпинист и ас слалома!

— Не преувеличивай. Сейчас я только шофер-гид, на время, конечно, по семейным обстоятельствам... Видишь «Икарус»? На Рицу возил кубинцев... А мест, дорогие, нет! Так что придется вам ехать ко мне в Кобулету, это рядом. Вы мои гости, и всякие разговоры отменяются! И вы, дорогая блондинка!

— Мне обещали люкс, я подожду.

— Номера не ждите, времени не теряйте. Тепло иссякнет, счет идет на минуты...

— Познакомьтесь, — сказал Олег, — Нина Васильевна, инженер. Поехали с нами, Нина,—помолчав, добавил он и посмотрел на Митю.

— Я подожду.

— Нина, вы разбили мое сердце...

— Ладно, кончай, Ираклий, мы и так все поедем с удовольствием, мы тоже дорожим молодым инженером, не правда ли, Олег? — очень серьезно сказал Митя. — Дождемся недостающего звена и поедем.

— Недостающего? Честное слово, Мито, ты прямо какой-то Мегрэ! Наверно, ты все-таки телепат, раз у тебя предчувствие...

— А вот и они! — воскликнул Андрей, увидев входящих в вестибюль девушек, и добавил восхищенно: — Зоя просто манекен!

Тенгули, семнадцатилетний брат Ираклия, со второго этажа увидел приближающийся «Икарус» и сбежал по двухмаршевой железной, окрашенной сверкающей алюминиевой краской лестнице, пристроенной к старому деревянному дому, — отпирать ворота. Двор был тесный, но автобус, не портя насаждений, все-таки умещался. Ираклий берег машину — не оставлял ее на узкой улочке. Тенгули увидел, что брат

опять привез каких-то людей, и не удивился — дом был просторный, а их вместе с дедушкой Карло Константиновичем, не считая немногочисленных дачников, всего трое.

Закрыв за автобусом ворота, он тотчас пошел на кухню и поставил на газовую плиту на маленький огонь кастрюлю — разогревать толму. Ираклий любил толму. Это был его заказ на сегодня, и Тенгули израсходовал на нее весь остаток замаринованных майских виноградных листьев. Кроме того, имелась про запас бастурма — вымоченная в уксусе, пересыпанная луком и перцем баранина для шашлыка. Ираклий не стал бы краснеть перед гостями. Тенгули вообще делал все, что любил старший брат. Его не проведешь, как родителей или дедушку Карло, у которого Тенгули жил постоянно, чтобы старик не скучал один в доме на побережье. Это был старый дом, в нем выросли его родители; теперь они жили в Батуми, в обыкновенной городской квартире.

Тенгули окончил школу и ждал весеннего набора в мореходку. А пока, чтобы не расставаться с морем, поступил на работу в спасательную береговую команду. Свободного времени было много, можно было и позаниматься. Тенгули большей частью сидел в лодке на огороженном мелководье, напротив санатория «Мать и дитя».

Близились сумерки, надо было побыстрее сбегать за дом, в огород, нарвать свежих огурцов и помидоров для салата. Он схватил плетенную из прутьев шелковицы корзинку и побежал. Роса уже обильно увлажнила листья, шершавые огурцы чуть покалывали пальцы, пряно пахли помидорные стебли.

— Ой, какие смешные огурцы! — услышал он. — Висят прямо на заборе!

Он обернулся, около грядки стояла девушка. Тут их, на курорте, было видимо-невидимо, и Тенгули хотел уже, как обычно, сострить, но умолк. В мягком золотистом свете заходящего солнца девушка показалась ему необыкновенной.

— А помидоры? Вот это помидоры...

— А что, у вас такие не растут?

— Нет. А ты кто? Брат Ираклия? Похож. Почему это у вас дом на столбиках? Вдруг свалится!

— Нельзя иначе, здесь субтропики, нужно, чтобы дом проветривало снизу. В первом этаже может быть только кухня...

— Ага! — улыбнулась она и, немного помолчав, добавила: — Я — Зоя!

— Очень приятно, — Тенгули хотел поклониться, но не посмел.

— Идем, я не знаю, в какую сторону надо идти, тут автобус все загородил! А тебя как?

— Тенгули, — ответил он и пошел впереди, спиной чувствуя, что она не отстает, а идет совсем близко, рядом, и одновременно досадуя на себя за то, что представился ей детским, уменьшительным именем.

— Подожди, Тенгули, — она коснулась рукой его плеча, — а это что за чудо? Как же виноград забрался на вершину дерева?

— Это изабелла, лоза вьется высоко, может и к четвертому этажу дотянуться, если в городе, а у нас принято пускать ее на деревья — наверху сухо и солнечно...

Дедушка Карло уже расставлял стаканы для вина. Ираклий вынес из «Икаруса» пять больших хрустящих, горячих еще, сложенных в стопку плоских хлебов и положил их на середину стола.

— Тенгули, — обратился он к брату, — тащи толму! И бастурму, шашлык будем делать. Да, — остановился он, заметив, что тот не двигается и смотрит на него, — познакомьтесь, это мой брат Тенгули.

— Тенгиз, — поправил его Тенгули и протянул руку.

— Мито, скажи слово, — Ираклий разлил вино в стаканы.

«Начинается, — подумал с досадой Андрей, теперь не шевелись...» Он посмотрел в сторону, увидел Зою и тут же заметил, что мальчик, как же его еще назвать, хоть на вид он вполне развит и вообще похож на юного Давида с пращей, не сводит с нее глаз. Есть

Галина Гурули. В конце недели — отдых.

на что посмотреть, малыш! Здоровье, изящная простота, яркие краски... Такую помуштровать и можно вести на любой прием на высшем уровне! И не жеманится она, как эта вполне зрелая заводская секс-бомба, на которую положил глаз старший братец. И не подсохла, как Олегова интеллектуалка Геля. Впрочем, наши все скукожились или устали...

— Друзья, — Митя встал, — пьем за прекрасную Колхиду... И вообще за этот край с его морями, с могучими вершинами! Пьем за покорителя вершин — нашего гостеприимного хозяина!

Банальный тост, отметил про себя Андрей, да черт с ним, с тостом, он и должен быть банальным, но как выучиться этой спокойной при полном небрежении к одежде позе, этой веселой манере общения, непринужденному, но безусловному воздействию на окружающих...

— Мито, дорогой, но зачем нарушать порядок? Разве вы собрались уходить? За хозяина надо в самом, самом конце...

— Ладно, пьем не за тебя, а за горы Сванетии, твои горы!

— Сванетия здесь где-то близко? — спросил Олег. — А как туда добираться? Митю, если не ошибаюсь, вы тренировали, Ираклий? На восхождение... Ты, кажется, тоже там бывал, Андрей, или нет?

«Ах ты, глупый, — подумал про себя и улыбнулся Андрей, — и ты туда же! Прямо так, с налета?!»

— У меня все еще впереди, — ответил он, — это Митя у нас человек бывалый... Куда только не ездил, чего только не видывал...

— Не факт. Нельзя объять необъятное, но надо стремиться, — отшутился Митя.

— Дорогой Олег, я вижу, парень ты спортивный...

— Не очень-то и спортивный. Вот Андрюша и Митя атлеты! — возразил Олег, будучи, однако, уверен в обратном. Он знал цену своему небольшому, но крепкому, мускулистому телу. Не зря же простаивал перед зеркалом с поднятой вверх гирей, стараясь, чтобы каждый мускул был в работе.

— Это всё детали! Друзья! Мито! — Ираклий встал и обвел всех глазами. — Жду вас всех в Местии, как только откроется дорога! Друзья, а тосты продол-

жаются! Тенгули... Тенгиз, зажги камин, чтобы угли для шашлыка были готовы...

— А где же у вас камин?! — засуетилась Зоя. Я и не заметила... Как у вас здесь все красиво, вкусно... Даже кислое вино — не кислое, а сладкое!

— Вино сделано исключительно для друзей, Зоя! А камин вы не заметили потому, что это скромный камин! Для хозяйства, для деревенских нужд...

«Этот тип с чеканным античным профилем не так уж и прост, — отметил Андрей, — а Зоя прямо-таки обалдела от юга!»

— Камин ведь не очень греет, — сказал он, — жарко, красиво, покамест горят дрова, но тепла не держит, это тебе не русская печь!

— Ты разбираешься в печках, Андрюша? Ты же все о каминах мечтаешь! — захохотала Зоя.

— Мечтаю. А у тебя что? Печка имеется русская?

— Имелась.

— У нее целый домище... — начала объяснять Геля.

— Ангелина, не мешай! — остановил ее Митя. — Ты живешь у брата, Зоя, не так ли?

— Ах, Митенька, и у брата тоже...

— Вот—помещица, а все скрытничает! — прищурился Андрей.

— Ей скрывать нечего! — снова за Зою ответила Геля.

— Оставь их, Геля, не трогай, не им же носиться туды-сюды, — вяло улыбнулась Зоя, — по десять километров, идучи на работу...

— Ну-у, Зочка... Кто же так ходит? В Москве транспорт есть! Разве что для здоровья... — засомневался Андрей.

— А я в деревне живу, Андрюшенька, в деревне, на природе! Не на даче, а в деревне, до электрички пять километров! А работаю в городе. Понятно? Не в колхоз же записываться! Ты бы записался? Не-е-ет. Вот и я нет. Выйду замуж за москвича, тогда в Москве жить буду...

— Выйдешь, выйдешь, не пропадешь, — нахмурился Олег.

— Ты, Олег, лучше бы помолчал. Я в твои дела не лезу, раз Гелья не велит...

— Он просто переживает за вас, — встала Нина Васильевна.

— И в ваши дела, Нина Васильевна, тоже... Напросились в гости, так... и посиживайте тихонечко!

— Зря вы так горячитесь, неудобно даже, — растерялась Нина Васильевна и посмотрела на Олега.

— Это вам в вашем возрасте... должно быть неудобно! Сидите и смотрите, чудеса какие, виноград забрался на верхотуру... Сидите и не зырьте на кого не надо!

— Зоя, тебя заносит, остановись. Ты что, выпила лишнего?! — спросил тихо Андрей.

— Может, и выпила. Вино вкусное... Но не в том дело... Вот ты у нас, Андрей, больно осторожный, больно умный, так скажи... Честно. На ком женитесь вы с Митенькой и Олежком, а? Секрет. Госуда-а-арственная тайна! Так не врите, что я скрывать буду...

— Ты бы остановила свою подружку, Ангелина, — не глядя на Гелю, сказал Олег.

— По-моему, все тип-топ.

— Останови, — сказал он настойчиво с обидой. Он-то делал все. Снимал комнату, потому что у него была она, Геля. А до этого жил в малогабаритной квартире из двух смежных комнат, где ему, вполне взрослому человеку, было тесно с матерью и сестрой. И все шло нормально. А теперь всегда напряженка, надо соответствовать. Однако этот гнет не очень-то тяготил, только бы понять, чего ей надо.

Вошел Тенгули с охапкой вымытых, выбеленных морем древесных веток.

— Кончай, — сказала Геля, — кончай, Зойка, не порти кайфа.

— Зоя, ты смешная, ты прелесть, — Митя слегка потрепал ее по плечу. — Вернемся из отпуска в Москву, обо всем потолкуем...

— Не потолкуем, Митенька! До лампочки я тебе, до лампочки...

— Не говорите так, Зоя, не говорите, прошу вас! — Тенгули смотрел на нее умоляюще. — Раз вы его невеста, он любит вас! Не может не любить...

— Тенгули, мальчик ты нежный, не испортился еще...

— Тенгиз! — окликнул брата Ираклий. — Поиди принеси баранину. Друзья, — Ираклий снова поднялся со стула со стаканом в руке, — прекрасные тосты продолжаются. Мужчины, конечно, с большими недостатками, Зоя! Они любят постранствовать, навестить друга, но они возвратятся...

— К понеделнику, — обронил Андрей.

— Даже раньше, к субботе, — добавил Митя.

— Спасибо, друг Митя, тем лучше! Прости, Ираклий, что перебил тебя! — извинился Андрей.

— Без конца нарушается дисциплина, друзья! Но это простительно: лоза, она делает свое веселое дело... Итак, мужчины непременно возвратятся к своему очагу, к любимым женщинам. Выпьем, друзья, за милых женщин! Я начинаю по кругу, слева направо. За вас, прекрасная блондинка, белая роза, услада глаз...

— Никакая я не услада, — кокетливо засмеялась Нина Васильевна. — Я же не сахар, скажите ему, Олег Владимирович!

— Не придавайте значения, — смутился Олег, — здесь все так говорят, когда сидят и пьют вино...

— Олег, — Ираклий сел, поставил на стол стакан с вином, вздохнул и продолжил: — На всякий случай, если ты вдруг поедешь в Сванетию, я хотел бы тебе как другу моего друга Мито кое-что разъяснить... Обычай, представь себе, надо уважать. Особенно, когда окажешься в Сванетии. Там ведь могут обидеться. Конечно, хозяин и вида не подаст, ты же гость, ешь вместе с ним хлеб-соль. А насчет белой розы... Что ж, белых роз много. Даже очень много. Это я вам как гид говорю! Так выпьем же за них. И извини, Олег, я не хотел обидеть Нину Васильевну.

— Вот вы и вышли в мои защитники! — громко рассмеялась Нина Васильевна.

— Разумеется, я не против, но Ираклий меня не так...

— Лучше послушайте, что сказано про розу, — перебила Олега Геля, заметив, что Ираклий снова нахмурился, — послушайте:

Галина Гурули. В конце недели — отдых.

Вардса хкитхес: эгзом турпа
Рама шегкмна танад, пирад?
Миквирс, рад хар эклиани
Повна шени рад арс чирад?



— Непонятно, но красиво. Почитай еще, — попробовал Митя.

— К сожалению, это все... Просто с детства на слуху от мамы. Могу по-русски. Вот про вино:

Видишь — на пиру кувшинчик угощает всех подряд?
Чтобы усладить нам сердце, кровь свою отдать он рад.

— Молодец, дочка, — Карло Константинович, который сидел безучастно и, казалось, ничего не слышал, подошел к Геле и поцеловал ее в макушку. — А теперь, сынок, Тенгули, спой, поразвлекай гостей! Принеси гитару!

— Замечательно! Гитару скорее, Тенгули!.. — засуетилась Зоя.

— Лучше без гитары. Я спою для вас, Зоя. Пусть только они мне помогут!

Ираклий и Карло Константинович встали за стулом, за спиной Тенгули.

— В храм войду я... — начал Тенгули чисто и высоко.

— Глаза закрою, ты на ресницах моих, — подхватил второй голос — Карло Константинович.

— Ты на ресницах моих, — выводили они уже втроем.

Проснувшись, они услышали рев и грохот. Ветра не было, но казалось, сотрясается застекленная ветхая веранда, на которой расположились девушки и Нина Васильевна.

Тенгули давно встал и, наконец услышав голоса, вышел из комнаты, где еще спали мужчины.

— Идемте к морю, увидите, как волна играет, — сказал Тенгули.

— А вдруг море доберется до вашего дома? — испуганно спросила Зоя.

— Не бойся, дочка, — Карло Константинович вошел на веранду с большим пластмассовым подносом,

на котором громоздились прозрачные розовые и ма-
тово-черные кисти винограда. — Бывало раньше... На
моей памяти море несколько раз приходило сюда! Нар-
ды плавали по комнате. Теперь берег укрепили, и оно
больше не явится среди ночи! Хоть это еще больший
вред. Море совсем съело берега...

— Съело? — удивилась Геля.

— Да, съело. От нашего дома прежде надо бы-
ло долго идти до моря, а теперь вот оно, у порога
плещется... Растревожили берега, у самой воды копо-
шатся экскаваторы, строят набережные. А волне нужен
простор. Она сама истощится, если есть место для рас-
ката, камнем нарастит берег, все сама знает!

— Ни за что не стала бы жить так близко!

— Вы бы привыкли, Зоя, вы бы обязательно полю-
били море, — тихо сказал Тенгули.

— А где же сильный пол? Надо идти в гостиницу, —
заторопилась Нина Васильевна, — мне обещали к утру
номер!

— Не волнуйтесь, все будет в порядке, — сказал
Тенгули. — Ираклий уехал к своим кубинцам и скоро
вернется. Он повезет в аэропорт Митю и Андрея, что-
бы им не засчитался прогул. А с номерами, наверно,
все улажено.

Когда девушки и Тенгули подошли к пляжу, море
кипело, клокотало, обрушивалось на берег и гнало мут-
ные, смешанные с песком и мелкой галькой волны к
санаторному корпусу; они откатывались обратно, их на-
стигали новые, скрежеща крупными камнями.

Но за пенным, беснующимся барьером море лишь
мерно вздымало водяные холмы; они плавно поднимали-
сь и опускались...

— Тенгули, а что там вдалеке?

— Старые деревья, море приносит их из Турции.
Вон оттуда! — указывая девушкам на далекий невиди-
мый берег, Тенгули повернулся и увидел идущих к ним
Митю и Андрея. За ними, чуть поодаль, шли Олег и
Нина Васильевна.

— Тенгули, Тенгули, за деревом, кажется, кто-то
плышет...

— Да никого там нет, успокойтесь, барышни! —

Галина Гурули. В конце недели — отдых.

Нина Васильевна сбросила халатик. — Советую всем принять воздушные ванны, полезно для кожи.

— И эстетики, — сказал Андрей. — Это новая модель? — Он разглядывал узкие полоски материи — купальное одеяние Нины Васильевны. — Такие контуры просто необходимо выставлять на обозрение...

«Идеальная фигура, а лицо никакое, — подумала Геля. — И вообще все это тупой бред. Но чем хуже, тем лучше. Не хватает только, чтоб она заметила, как я ее разглядываю», — Геля внимательно смотрела на море.

— Ираклий сюда подъедет или домой вернется? — поинтересовалась Нина Васильевна.

«Нет, ей еще надобно, чтобы и Ираклий ее лицезрел», — удивилась Геля.

— Сюда, если он взял билеты на самолет, — ответил Тенгули, — во всех случаях сюда; видите, сколько народу собралось поглядеть...

— Этих курортников всюду навалом, надо мотать отсюда! — мрачно произнесла Зоя. Она была не в духе, ей очень хотелось спать.

— Зачем уезжать, здесь самый лучший климат, — заволновался Тенгули, — можно купаться и в реке...

— Зочка, великий Фазис под боком, а ты не сходишь. А вот и обладатель золотого руна, — Андрей кивнул на Тенгули и подмигнул Мите.

— Тенгули, все-таки, кажется, в море человек, — сказала Геля.

— Отсюда плохо видно. Возможно, пацаны в шторм вылавливают бревна, — объяснил Тенгули.

По влажным ступенькам баллюстрады они поднялись повыше.

— Разве нельзя переждать бурю? — отсюда, сверху, Геля получше рассмотрела скользящие с волны на волну стволы.

— Нет, надо достать их, пока не унесло обратно в море! На побережье рубить ничего нельзя, а у всех каминьы. И потом, как бы это сказать... Каждому хочется себя проверить.

— Чушь какая-то, — усмехнулся Андрей, — не для белых людей занятие!

— Просто нелегко решиться.

— А ты что, решался? — спросил Митя.

— Конечно, он же спасатель, — Зоя с нежностью посмотрела на Тенгули.

— Есть упоение в бою, — сказал Андрей. — Но ты, Тенгули, все-таки не загибай. Какой дурак кинется в пучину? Да еще за дровами?!

— Могу доказать, — засмеялся Тенгули.

— Замолчите! — сказала Геля. — Он же местный, вырос на море!

— Мало ли кто сидит в лодках и загорает...

— Митя, что он говорит?! — возмутилась Зоя. — Андрей, это же плохо кончится!

— Зюечка, чего не сделаешь для прекрасной дамы, особенно на словах!

Тенгули молча сбегал по ступенькам, на ходу сбрасывая джинсы и рубашку. Волна только что отхлынула, и он с разбега, оттолкнувшись от вертящихся под ногами камней, пробил застывшую на мгновение свинцовую стену и исчез.

— Ненормальные! — закричала Геля. — Он же утонет!

— Кто же знал, что он выкинет такой номер! Выплывет... — стараясь не терять спокойствия, сказал Андрей.

— Не факт, может и не выплыть...

— Вы подлые, и ты, Митя, тоже, — заплакала Зоя.

— Вот он! — закричала Нина Васильевна. — Не туда смотрите, подальше, за бревнами!

— Чумовой парень, терпеть таких не могу, — Олег облегченно вздохнул.

— Заплыв в твою честь, Зюечка!

— Заткнись, Андрей, он просто еще не закаменел, как все вы!

Тенгули держался за бревно, плавно скользящее на водяных холмах. Приблизившись к kloкочущей полосе прибоя, он нырнул и очутился на берегу. Встал на ноги, но море тут же потащило его обратно.

Люди на пляже смотрели, как волны несли его от берега. Тенгули снова нырнул и снова выскочил на берег. И опять кипящая пена повлекла его назад...

— Но ведь есть лодка! — Геля сбегала с баллюстрады к опрокинутой у самых ступенек лодке. — Надо стащить туда лодку!

— Оставь, — Олег подошел к ней, — это невозможно, кто сядет в нее?

— Но море его заболтает... Он утонет, Андрей.

— Я, в общем, плаваю только в бассейне...

— Они плавают в бассейне, Геля, понимаешь, укрепляют здоровье! А для чего им здоровье?

— По-вашему, они тоже должны утонуть? — Нина Васильевна подошла к Геле.

— Отойдите, — Геля схватилась за край лодки.

— Ираклий! Ираклий приехал! — Зоя бросилась к подъезжавшему «Икарусу».

Автобус развернулся у самого санатория и остановился.

— Ираклий, миленький.... — запричитала Зоя. — Спасите, скорее, скорее...

— Друзья, я вижу, вас не на шутку перепугала разбушевавшаяся стихия? — Ираклий смеясь вылезал из кабины.

— Ираклий, спасите Тенгули, он там, он не может выплыть! — Геля снова побежала к лодке.

Ираклий подошел к ним и молча остановился.

Море несло теперь Тенгули вдоль берега. Вот он снова ухватился за бревно.

— Правильно, — прошептал Ираклий, — отдохни немного, отдохни, соберись с силами... Дождись самой большой волны...

Ираклий медленно шел по берегу за Тенгули, которого относило все дальше и дальше от санатория. Ираклий разделся, кто-то подобрал его одежду.

Геля, а за ней и вся компания, осталась стоять у лодки. Отсюда они отчетливо различали одинокую фигуру Ираклия.

А когда море послало свою самую высокую волну, Тенгули исчез в ней и через мгновение был вынесен на берег. Волна грохоча отступила, оставив его лежащим на гальке.

Надо было вставать, а он все лежал... Ираклий кинулся вниз, к обнажившемуся участку пляжа, схватил Тенгули за плечи и стремительно потащил вверх по мокрым, хлюпающим камням. Волна обрушилась чуть ниже и с меньшей силой...

Ираклий поднял Тенгули. И когда тот, обняв его

за шею, встал на ноги, вдруг оттолкнул и, размахнувшись, ударил по лицу.

Затем, захватив одежду, исчез в кабине «Икаруса».

Минут через десять Ираклий уже сидел за рулем.

— Мито, поторопитесь, — крикнул он, — мы опаздываем!

Погода оказалась лётной, и Митя с Андреем прибыли в Москву точно по расписанию.

Митя сразу же позвонил домой. Лиля Петровна, ни о чем не спрашивая, сказала, что высылает машину.

— Может, поднимемся пока наверх, посидим? — предложил Митя.

— Я пас. У меня копейки.

— Там наверняка есть кто-нибудь из наших.

— Это ближе к ночи, сейчас там пусто...

«Понял тебя. Тебе назавтра надо быть как стеклышко, ну и бог с тобой», — подумал Митя.

А ему, Мите, ничегошеньки не надо. Ему бы вообще лучше всего сейчас в Тьмутаракань, к чертовой матери, в Гималаи! Жаль, в Сванетию он покамест не ездок. Конечно, Ираклия он не потеряет, Ираклий—человек верный и стойкий, но, братцы, как стыдно, ведь чуть было не утопили юного колхидянина.

— Митя, машина уже стоит.

— Ага.

Быстро примчалась, отметил он, из-под моста, значит, а стало быть за баранкой Марат. Хорошо, что не тот, другой, молчаливый.

— Привет, Марат!

— Привет! А Зоечку где потеряли?

«Все-то ты знаешь!»

— С Зоечкой завязка, — ответил Митя. — Мама не велит.

— Что, в загс просится?

— А как же! Все девочки туда просятся!

Они выехали на магистраль и двинулись, не останавливаясь, по резервной полосе.

Не велит и никогда не согласится на такую, как Зоя, раздраженно думал Митя о матери. Небось уже

высмотрела, выискала подobaющий объект. И наверняка без изъяна: и молода, и образованна, и красоточка, и из своих. А я вот не женюсь, останусь навеки старым холостяком, злорадно подумал он и тут же сник, представив молодежавое лицо матери с хорошо знакомым ему выражением любви и заботы. Все было предусмотрено ею с пониманием и вкусом: книги и журналы, икебана в его комнате, коллекция картин левых художников в холле, зимний отдых на каникулах в Терсколе...

— Ты завтра будешь на первой паре? — спросил Андрей.

— Ни на первой, ни на сто первой.

— Тебе видней.

— И вообще я решил податься в зоопарк, поработать там, ежели возьмут, пока меня не простит Ираклий. Потом я уеду в Сванетию, Хевсуретию, Хорог, Гималаи, лишь бы от вас подальше!

— Да, как-то нескладно вышло... — поморщился Андрей и замолчал.

Они выехали на двухъярусный, перекинутый через реку мост.

— Причаливай здесь, Марат, у метро, — и, повернувшись к Мите, Андрей спросил: — Интересно, Зое как чертежнице полагается такой отпуск? Две недели?

— Дождись приезда, узнаешь... Впрочем, тебе не светит! Ей такие не нравятся. Она душу ценит.

— И московскую прописку.

— Может, ты и предоставишь?

— Я пас, к сожалению.

— Как так? Ты постарайся.

— За те годы, которые уйдут на мои старания, она безнадежно поблекнет.

— А без прописки тебе не светит.

— А тебе? Без прописки?

— Светит! Да только ни к чему это...

Так получилось, что Олег потерял Гелю из виду. Сначала они все стояли поодаль и смотрели, как Ираклий тащил Тенгули из моря, а потом, когда Митя и Андрей сели в «Икарус», опаздывая в аэропорт, Геля вместе с Зоей отошли к баллюстраде. Народ стал расходиться, пляж опустел, и тут он обнаружил, что их нет.

Вместе с Ниной Васильевной он направился домой к Ираклию. Карло Константинович сообщил им, что дома один Тенгули, который крепко спит, а девушек нет — взяли вещи, попрощались и ушли. Наверно, в гостиницу.

В гостинице, однако, их тоже не оказалось. Побродив по пятакчу между гостиницей, вокзалом и базарчиком, Олег с Ниной Васильевной снова вышли на пляж.

— Девчонки рискованные, уехали они, Олег Владимирович! Сколько еще будем ходить, искать? — сказала Нина Васильевна.

— У них нет билетов на поезд.

— Заплатили проводнику и уехали! Могли вполне, Зоя — за Митенькой, просить прощения, а Геля...

— К маме домой?

— Иначе куда же они подевались? Здесь одна гостиница, там их нет.

— Не могли они уехать!

«Ладно, ищи один, без меня», — разозлилась Нина Васильевна.

— Наверно, им, как и мне, пора обратно? — улыбнулась она.

— Они приехали отдыхать, а не проветриваться! — отрезал Олег.

«Сейчас я тебе поясню», — вспыхнула Нина Васильевна и засмеялась:

— Я — другое дело! Я ведь из-за вас все бросила и помчалась...

— Не хватало только признаний, — испугался Олег.

— Знаю, я вас соблазнил своим отъездом... — сказал он торопливо.

— Было бы чем соблазняться. Дикарем поехали, не в санаторий же! Просто понадеялась, что вы наконец обратите на меня внимание...

— А я и старался! Затащил вас к Ираклию, вы на него произвели неизгладимое впечатление. Но, как видите, все разбежались при первом же шторме...

— Зато прояснилось.

— Что прояснилось?

— То, что вы никому не нужны.

— А вам нужен?!

- Вот разве что мне.
- И только?
- У нее, я думаю, другой идеал.
- Кто же?
- Не кто, а какой.

— Ну, это не измена. А почему вы так думаете?

— Вижу! Вам бы опереться, а она витает...

— Зачем мне опираться? Мне не нужно опираться, — сказал Олег. — Я сам кого хочешь поддержу!

— Это вам так кажется, — возразила Нина Васильевна мягко.

— Тамрико, швило, — явственно слышит Тамара Георгиевна, и сама себе объясняет: ах, это я — маленькая, мне говорят «швило», что значит дитя, детка... Меня привезли к бабушке Деспинэ и дедушке Ладю; кончится лето, мама приедет за мной, и я снова буду жить в городе и ходить в школу...

— Я здесь, дедушка, — отвечает Тамрико и напихивает полный рот ягодами лавровишни. Ягоды терпкие, вяжут, язык делается неповоротливым. Босые ступни ловко скользят по гладкому стволу, и вот она уже стоит на густой, невысокой травке, зеленым ковром устилающей двор перед домом.

Дом деревянный, дедушка говорит, что построен он из каштановых деревьев, поэтому не страшна ему сырость. А прохладу держит густая тень от платана, такого высокого, что макушку не сразу увидишь, как ни задирай голову.

...Тамара Георгиевна тоже живет, участвует в этом сне и видит широкий, как стол, пень от срубленного платана, облысевший на солнцепеке двор, дом с разбитой черепицей. Но все это было потом, после... Она приезжала сюда, когда дом был всеми покинут. А вот Тамрико — она знает, что все сказочные, веселые дома крыты, как и дедушкин дом, красной черепицей. И вообще дедушкин дом очень интересный, он двухэтажный, окружен глубоким оврагом, оттуда доносится журчание ручья, который в дождь, в непогоду превращается в бешеный поток. Со двора через застекленную разноцветными стеклами веранду можно, не поднимаясь по лестнице, попасть прямо на второй этаж в большую комнату. Бабушка называет ее залой, в нее редко захо-

дят. Там стоит зеркальное трюмо и на стенах развешена одежда двух бабушкиных умерших сыновей, их увеличенные портреты висят тут же над ломберным столиком.

— Тамрико, швило, бегом, одна ножка здесь, другая там, — дедушка Ладо протягивает ей небольшой глиняный кувшин.

— Я мигом, я сейчас! — Тамрико бежит, она очень любит дедушку и хочет как можно быстрее сбегать на ключ, бьющий из горы неподалеку, у края каменистой дороги, по которой быки медленно волокут скрипучие арбы на больших колесах и изредка ездят, переваливаясь по камням, огромные пассажирские автобусы с откидным брезентовым верхом.

Дедушка Ладо очень старый и горбатенький даже: у него всегда в руках толстая палка с серебряной ручкой в виде собаки с длинными ушами. С этой палкой он снят и на карточке, где он не такой старый, а бабушка Деспинэ совсем молодая, в очень пышном платье с цветком на груди. Теперь бабушка ходит во всем черном, даже чулки черные носит, и косынка на голове тоже черная. Но она все равно красивая, у нее глаза голубые, и сна очень красиво смеется.

Ключ вытекает тонкой струей, но небольшой кувшин быстро наполняется и сразу запотевает. Теперь бегом обратно, и дедушка будет, как он любит, разбавлять водой вино.

— Тамрико, сиди прямо, как полагается девочке, мчади положи на тарелку!

— Деспинэ, оставь ребенка в покое.

— Должен же кто-нибудь подумать о ней!

— У девочки есть мать. Лариса — женщина достойная...

...Тамара Георгиевна чувствует, как в ней все замирает в ожидании, в предчувствии, что вот-вот из тумана во сне соткнется любимое молодое лицо матери, и щемящая нежность охватывает ее.

— Ладно, — продолжает бабушка Деспинэ, — с коровой надо что-то делать! Останется яловой, сам знаешь, ею только и держимся, да и жалко смотреть на скотину, сведи ее к Нестору...

— Завтра отведу ее, завтра, — раздраженно говорит дедушка.

— Дедушка, куда отведешь Краснуху? — спрашивает Тамрико, понимая, что ей все равно не скажут, что с Краснухой.

— Не будь любопытной, Тамрико, — говорит бабушка Деспинэ строго.

Дедушка гладит ее по голове:

— Идем, девочка, проверим, что там еще поспело, неси свою корзинку! Деспинэ, куда нам идти?!

— Здесь, у дома, ничего не трогайте, ступайте вниз, к воротам!

Они проходят мимо сливы и грушевого дерева, рвать с них ничего нельзя, все плоды, все до единого, ждут тех, кому они предназначены. Приедет дядя Северьян, бабушка надеется, что нынче он непременно приедет, его ждут со дня на день, груши уже пожелтели, а сливы стали синие-пресиние! В сторонке раскорякой стоит широколистное инжировое дерево; плоды на нем еще зеленые, но к тому времени, когда приедет мама, они поспеют, и крохотные птички стайками будут клевать красную медовую сердцевину... Тамрико преисполняется благодарностью к бабушке Деспинэ — маму, русскую невестку (а Тамрико уже разбирается, в таких вещах), тоже ожидает свое дерево! Значит, бабушка любит маму, только уж очень часто говорит, что мама обязательно выйдет замуж и что она, бабушка, все равно ее прощает, потому что и так уже пять лет прошло с тех пор, как умер папа.

Они спускаются к нижним воротам, есть и верхние ворота, из них выход к базару и большой дороге, куда Тамрико бегаёт за ключевой водой. Они срывают спелые груши и сливы и сверху, на полную корзинку, бросают несколько горстей кизила.

— Ты совсем запустил хозяйство, — замечает бабушка и ставит корзинку на стол. Обед окончен, она давно прибрала посуду. — Не забудь, сегодня надо сходить еще к лудильщику, забрать казанок.

— Тамрико, наша бабушка совсем постарела, а? Ворчит и ворчит...

Вдруг с ближайшей к дому невысокой горы, отбросившей послеполуденную тень на траву их двора, зазвенел колокол. На вершине затаилась заброшен-

ная, приземистая церковка. Снизу видно, как раскачивают колокол. Звон плыл над их головами и замирал вдалеке.

— Хоронят Эвпраксию...

— Да будет земля ей пухом, — вздыхает дедушка, — долго жила и не знала настоящего горя... Идём, подай палку, девочка!

Тамрико счастлива — сейчас она увидит, как медник молоточком правит вмятины на кувшинах, а потом лудит их расплавленным оловом, как полыхает голубой огонь, как раздувают меха, а круглые красноватые кованые тазы с висячими ручками ждут своей очереди.

Они минуют опустевший базар и подходят к мастерской. Медник уже затушил горн и собрался уходить. Рядом с ним стоит разноглазый Автандил.

Тамрико крепко схватилась за дедушкину руку — она очень боится Автандила. Однажды, когда она пришла на свою любимую полянку, он стоял там и молча смотрел на нее своими разными глазами, зеленым и черным. После этого, когда Тамрико забегает проводить полянку, всегда осматривается, нет ли поблизости Автандила, а он торчит там нарочно и посмеивается.

Сейчас Автандил тарачился на дедушкину палку с песьей головой и не смотрел в сторону Тамрико. Они взяли свои посудины и направились домой. Шагнули за ворота и сразу же услышали громкий голос бабушки Деспинэ.

— Ее нельзя оставлять одну, — пробормотал дедушка, — и этот колокол рядом, и вечно кого-то хоронят...

Тамрико уже знала, в чем дело, и, подойдя к дому, не удивилась. Бабушка сидела на стуле, на крыльце. Очень длинные, с проседью волосы ее были распущены, черная косынка лежала на коленях. И бабушка плакала нараспев.

— Швило Гиорги, швило Ноз! Каково матери смотреть на солнце и на эти деревья!.. Почему земля не поглотила меня вместо вас, мои соколы!..

За нижними воротами кто-то протяжно запричитал. Это тетя Дона — она всегда отвечает бабушке.

Дедушка послушал. Потом подошел к бабушке, поднял ее со стула и увел в дом.

— Бог в утешение дал нам много детей, — услышала Тамрико. — Скоро приедут Маро, Северьян.

Тамаре Георгиевне, она все время была здесь же, с ними, хотелось сказать, что Северьян скоро приедет, что он уже заказал шкафчики... Но ведь диван у Владика! — огорчилась она. И тут все сменилось...

Тамрико стоит на поляне, серебряные травы подернуты влагой, восходит солнце, церковь отчетливо белеет на свежем предутреннем небе, звонит колокол, холодно, и стыннут босые ноги. Вдруг, смятая стебли и растрясая капли росы, из-за кустов выходит разноглазый Автандил.

«Господи, — подумала Тамара Георгиевна, просыпаясь, — кажется, звонят в дверь... Не заболеть бы, всегда этот сон является перед болезнью!..»

В дверь еще раз настойчиво позвонили.

— Примите телеграмму!

— Сейчас...

— Распишитесь, вот здесь.

«мамуленька устроилась зоей зеленом мысу все порядке целую геля», — прочитала Тамара Георгиевна. Надо бы туда съездить, помечтала она, родные места все-таки.

Снова услышав звонок, Тамара Георгиевна накинула халат. Опять кто-то звонит, подумала она с досадой.

— Кто там? — спросила она, стараясь попасть в рукава, но руки не слушались.

— Ангелина дома?

— Она в отъезде, а кто это? Входите, только не сразу, я лягу в постель...

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, Олег... Я не узнала ваш голос... Что случилось? А где Геля?

— Вот и я спрашиваю, где она. Мы, должно быть, разминулись. Все нормально. Не беспокойтесь!

— Садитесь, пожалуйста. Извините, я лежу. Сердце прихватило... Вы что, поссорились?

— Расстались. До свидания, Тамара Георгиевна!

— Не уходите... Сегодня утром я получила теле-

грамму, они с Зоей на Зеленом Мысе. Значит, обратный адрес, как всегда, до востребования!

— Так она просто сбежала? На другой курорт? Только и всего?!

— Все имеет, наверно, свою подоплеку.

— Простите, но я сыт этими... исчезновениями!.. Сыт! Вы еще не все знаете.

— И вы не все знаете, Олег. Не знаете, например, почему уехала от вас Геля. Ведь в этом, наверно, и ваша вина, нет?

— Не знаю, что вы имеете в виду! При желании, конечно, можно придаться. Именно при желании. Придумать измену, сочинить ревность... Я ни в чем не виноват...

— Гелин отец, Александр Николаевич, который имел на нее большое влияние, считал, что главное — осознать себя.

— Главное, Тамара Георгиевна, это любовь! Остальное, извините меня, приложение!

— Если бы все было так просто!

— Вы любили Александра Николаевича? Нет, скажите, вы любили его?

— Я его очень ценила.

— Значит, не вы любили, а он! Вы только ценили! Так вот, Тамара Георгиевна, меня такой вариант не устраивает. Я с этой своей любовью покончу! И знаете как? Приду и скажу: я ценю ваше ко мне отношение, мадам... Мне есть кому сказать, поверьте!

— Большею частью это суррогат, Олег.

— Ничего, я не женщина, у меня много времени впереди! Можно повторить попытку. Сто раз можно повторить!..

После ухода Олега Тамара Георгиевна встала, чтобы закрыть дверь, но все тело охватила какая-то невесомость, неприятная ватность. Ладно, отмахнулась она, до вечера еще далеко, успею закрыть! Ей было жалко Олега. И она корила себя, что в своем нездоровье не нашла слов, чтобы как-то унять его гнев. И вдруг вспомнила себя и то, как она пришла к Саше, когда любви не было и в помине...

После своего приезда в Москву, тогда, сразу после войны, с Сашей она виделась часто и помногу, а когда вдруг появился Владик, Саша как-то сама отошла. Сейчас она спрашивала себя, что же все-таки помешало ей рассказать, что существует такой Саша? Тем более, что между ней и Сашей ничего не было... О том, как она добиралась до Москвы, Владик знал вскользь, без подробностей...

«А вообще все определяет его величество Случай», — усмехнулась Тамара Георгиевна, подумав, что всегда скептически относилась ко всякого рода сентенциям... И не выйди она в тамбур, куда все устремились, не было бы тогдашнего душевного сближения с Сашей. И некуда ей было бы идти потом, после той истории. Владик искал ее по знакомым. А она, вспоминая его, беспечно смеющегося, неторопливого, в машине с открытой дверцей, в отчаянии затаилась на Трубниковском, у Саши. И осталась там навсегда...

Но почему же теперь, через столько лет, вдруг увиденный нечаянно сон про ту, коротенькую жизнь в комнатке с покатым полом и шумно вздыхающим по ночам локомотивом делает радостным целое утро?

Бойкая женщина из регистратуры эвакогоспиталя протянула Томе несколько бумажек.

— Вот тут все! Придешь с документами прямо к вагону, состав будет стоять на дальних путях, за вокзалом. Здесь оба указаны, и путь следования тоже... Одного высадишь в Воронеже, другой едет в Калугу, в Москве пересадка, там определишь его на поезд; в Калугу ехать не надо, доберется! Пайка нет... Сама знаешь, сопровождающий полагается только слепым или вовсе безногим, а тебе написали справку только для брони на билет, раз тебе так надо в Москву! Хлопцы поделятся, не сомневайся, не пропадешь. Довольствие им выписано на неделю. Ехать пять-шесть дней. Отправление сегодня, в восемь вечера! А теплые вещи у тебя есть? Декабрь в России месяц очень холодный!

— Спасибо, у меня все есть.

Все имеющееся у нее было на ней! Пальто, переделанное из солдатской шинели, добыто на толкучке в обмен на мамину старую зингеровскую швейную

машинку. На голове и на плечах платок из жесткой крестьянской пряжи с длинными кистями. На ногах ка-
лоши с высокими каблуками, надетые прямо на длин-
ные грубошерстные носки, в каблуки вложены дере-
вянные чурочки.

Когда она подошла к вагону, эшелон был готов к отправлению. Пыхтел и шипел паровоз.

— Сестрица, к нам! Иди сюда, погреешься! — услышала Тома и обмерла, представив, как же это она сейчас поднимется к этим орущим, надрывно хохочущим увечным ребятам.

Однако место ее оказалось у самого входа, на первой же лавке общего переполненного вагона. Поставив плетеный сундучок на третью полку (в сундучке находилось последнее взятое из дому достояние — туго свернутая большая пуховая подушка), она забралась туда же, на третью полку. Полулежа под самой крышей, сквозь полутьму старалась получше разглядеть своих подопечных.

У коренастого, постарше, нога была ампутирована целиком, у другого, помоложе, отсутствовала стопа. Они сидели по обеим сторонам темного, плохо вымытого окна и молчали. Мимо вагона прошел еще кто-то, и опять у открытых со стороны вокзала окон стали хохотать и выкрикивать...

Наконец поезд тронулся, вошел проводник с фонарем, и Тома увидела, как к коренастому подсел безрукий, потом плюхнулся рядом улыбающийся парень с черной повязкой на глазу. К тому, что помоложе, сел русоволосый, в дохе из американских подарков, очень бледный, но по виду совсем не покалеченный.

Мелко задребезжали оконные стекла, зазвякала круглая крышка вентиляции, в вагоне стало душно, но тепло, и под мерный перестук колес Тома уснула крепким молодым сном. Проснулась ночью, в вагоне было тихо, все спали, только в дальнем конце прохода все еще резались в карты и пили водку. Осторожно, так, чтобы не свалиться с узкой багажной полки, она повернулась на другой бок и спала, не просыпаясь, до утра.

Галина Гурули. В конце недели — отдых.

Утром, открыв глаза, прислушалась к громким голосам и бряцанию алюминиевых кружек, посмотрела вниз и увидела разложенную на тряпках и газетах еду: кусок сероватого сала, кирпич черного клеклого хлеба и горсть мелко наколотого сахара.

Безрукий и тот, с черной повязкой, спали в обнимку на одной из верхних полок. Русоволосый сидел внизу.

Тот, что ехал в Калугу, посмотрел вверх, на Тому, и, встретившись с ней глазами, сказал:

— Слезай, поесть надо.

Тома надела припрятанные калоши с чурочками и спустилась.

— Ты что же, без пайка? — спросил другой подопечный. Полез в вещмешок, достал свою буханку, откромсал четвертушку, завернул остаток в бумагу. Потом извлек кусок сала, перочинным ножиком отрезал толстый ломоть, положил сало в пропитанную жиром тряпицу и бережно опустил обратно в мешок.

— А для чего столько пайков, — воскликнул русоволосый, — всего и так предостаточно! — Он вскочил, стащил с пустой полки свой вещмешок и выложил на столик хлеб и сало. — Вот еще сахар! — улыбнулся он. — Вас как зовут? Меня—Саша!

Потом они всю дорогу ели Сашин паек. На станциях Саша бегал за кипятком. Ребята не глядели на проплывающие за окнами села и города, а Тома, прожившая войну в тылу, в большом городе, который толком и не бомбили, неотрывно смотрела на остатки высоких зданий с пустыми глазницами окон, на груды битого кирпича и скрюченного железа под снегом; почти нигде не было станционных строений; на замерзших реках, рядом с наскоро наведенными вновь мостами, торчали мощные опоры взорванных мостов...

В Воронеже они с Сашей высадили коренастого, и она перебралась с третьей полки вниз к окошку. Кончался сумрачный зимний день. После остановки на полустанке эшелон летел как ошалелый, на перегонах он всегда нагонял время, и Тома решила поспать, привалившись к своему сундучку. Как вдруг услышала Сашин голос:

— А я и не отказываюсь и могу ответить за это!

Она вышла в проход между полками и увидела проводника с перекошенным от злости лицом.

— Отвечать будешь ты, молокосос! Я на посту и знаю, что это не порядок. Не положено таких возить, по инструкции не положено! Нынче всех не пережалешь... Если откроется непорядок, сведу тебя куда надо!

Томе показалось, что говорят о ней, хотя бумаги ее были безупречны.

— Все видели, как ты ее впустил на остановке. Путем насилия! Меня прижал рукой, а ее впустил! — шипел проводник.

— Пожалуйста, отвечу, не сбегу я, до конца еду, до Москвы... Но человеком надо быть, поймите! Пусть постоит в тамбуре... Ей только один прогон — там ее дом, там! Понимаете?!

Тома протиснулась к тамбуру, вернее, к самой площадке между вагонами, где, лязгая, ходили ходунком две металлические половинки перехода; под ними, сливаясь в нескончаемую ленту, грохоча, мелькали рельсы и шпалы на закоченелом снегу. Грубый гофрированный кожух охранял от падения стоявшую там женщину с ребенком на руках.

Ребенок большой, лет шести наверно, очень тепло закутанный, положил голову ей на плечо. Тома посмотрела ему в лицо и поняла — он был мертвый.

— Тома, не стой здесь, простынешь, — кто-то взял ее под руку. Она оглянулась и увидела Сашу, он смотрел на нее твердо и нежно.

Первое, на что обратила внимание Геля, подходя к своему подъезду, была вызревшая рябина. Она как-то нелепо полыхала в окружении голых, потерявших оснастку чахлах кустиков крошечного палисадника. Яркие кисти касались белесой кирпичной кладки.

Увидев продолговатую с красным крестом на боку и мигалкой на крыше машину скорой помощи, Геля остановилась как вкопанная.

Галина Гурули. В конце недели — отдых.

«Это к нам, — пронеслось в ее голове. — К маме! А с чего это я взяла, никогда ведь не вызывали... Не может быть».

Вчера, словно предчувствуя, что наконец изменится ее жизнь, Геля позвонила с Зеленого Мыса в Москву, в учебную часть, и узнала ошеломляющую новость: она зачислена прямо на стационар, кто-то отсеялся и ее зачислили! Они с Зоей бросили незададившийся отдых и приехали.

И все же беспокойство подгоняло ее. Очень быстро поднявшись на последний этаж и увидев полуоткрытую дверь, она уже поняла: это приехали к ним...

Она осторожно вошла и застала трех человек в белом, обступивших кровать. Рядом стояли носилки.

Оттолкнув их, она бросилась к матери:

— Мама, я приехала, мама...

— Вот и хорошо, — прошептала Тамара Георгиевна вяло. — Тебя Олег вызвал?

— Олег, — кивнула она и подумала: об институте потом, потом...

— Отойдите, — сказал врач, — ее надо срочно госпитализировать.

Геля отошла к окну и стояла там до тех пор, пока не увидела сверху, как внизу к машине вышел врач. За считанные секунды преодолев спираль лестницы, она выбежала, когда носилки уже вкатили в машину.

— Мне где сесть? — спросила она у врача.

— Мы будем в дороге работать, вы нам помешаете... Звоните по этому телефону, — он протянул ей листок.

Вертушка закрутилась, и машина, издавая режущий душу скорбный звук, отъехала.

— Андреналин, — сказал в машине врач, напрягая голос под неумолчный вой сирены. — Внутривенно.

Тамара Георгиевна лежала на носилках и ей казалось, что она едет стоя на стыке вагонов, на металлических бьющихся половинках. Лязг все усиливался и вдруг сделался мелодичным, мягким, как плывущий, все заполняющий звон колокола... Тамрико стояла на поляне, колыхались серебряные травы, на свежем утреннем небе раскачивался колокол, вот-вот должен был появиться разноглазый Автандил... Но вместо него из-за куста повалил туман, он ширился и ширился, постепенно поглощая и небо и колокол, звук которого уже таял и таял...



Михо МОРЧИЛАДЗЕ

ЛОШАДЬ В ГОРОДЕ



Рассказ

Перевод автора

ЧУДАЧЕСТВО да и только!.. Много ли осталось городов, еще можно ее увидеть? Неужели все стареет, безвозвратно уходит, чтобы дать дорогу новому, исчезнув при этом бесследно?

Проходят годы, поселения превращаются в пустыни и наоборот. Все меняется: мебель и утварь, одежда и нравы. Умирают одни традиции и рождаются другие. Новые поколения приносят свои заботы, забыв начисто все, не касающееся их. И думается: неужели нет ничего вечного, незыблемого в брэнном теле и душе нашей?

Как-то трудно верится в однодневность человеческого бытия. Вправду ли мы явились на свет лишь в переплете случайных обстоятельств и обречены, и каждый миг даже самых радостных событий неумолимо приближает нас к кончине и забвению?

Каждому случалось заметить: оказался ты на новом месте впервые, а как будто и не впервые. Предчувствие какого-то явления, внутренняя уверенность в неведанном сбывается, и кажется,

что как бы давно забытое происшествие с тобой повторилось. Повторилось через много поколений, и ты вернулся сам к себе, к своим ошибкам и радостным удачам. Найдется ли человек, который хоть сам себе не признается в том, что любую ошибку, им совершенную, он не предвидел или хотя бы не предчувствовал?

А почему мы не слушаемся голоса своего? Ошибаемся, ошибаемся и ведь бываем жестоко наказаны, а все-таки кто-то или что-то заставляет ошибаться нас вновь и вновь. Почему это так происходит?

Думаешь об этом редко, и тогда незаметно тебя наполняет тихая печаль, проблески мудрости ласкают тебя, чтобы вновь через мгновение забыться и снова на долгие времена отсрочить эти чудные свидания с самим собой, истинным и настоящим.

— ...Теперь очередь за Никой, — сказал Гия и сухой веткой лиственницы выкатил из-под золы картошку. Покрутил ее в руках, обшелушил и разломил. — Рассыпчатая! — воскликнул он радостно. Посолил, поперчил, положил сверху кусочек твердого, в горной речке замерзшего крестьянского масла и торжественно передал поверх девичьих голов весь вечер молча сидевшему бородачу. — Это в залог, — добавил он, — остальное — после рассказа!..

— Рассказывай, рассказывай! — зашумели притихшие было девчонки.

— Расскажи, только не надо очень страшную, как вот вчера, а то девчонки всю ночь глаз не сомкнули со страху... — вставил Гия.

— Отчего ты такой желчный?.. Вранье! Это он сам не давал покоя, все ему было холодно и одиноко... — огрызнулась на него Майя.

— Гия, иди ко мне! Кто тебя обидел, моя лапонька? Пусть она теперь сама на нас злится!.. — «Большая Тоня» обняла Гию за плечи и под общий хохот повалила на бок.

— Пусти, сломаешь! — задрав ноги, по-заячьи дергался Гия.

— Девчонки, сегодня я подкараулю его в кустах! — пообещала Тоня. — Готовит, стирает, вяжет! Посплетничать любит! Как же его не любить?! — смеялась она.

Все хохотали, Гия визжал громче всех. Тоня пер-

вая помогла ему подняться и заботливо поправила ему одежду.

— А теперь слушаем тебя! — повернулась она к Нике и, подложив под себя рюкзак, села поудобнее.

Ника оглянулся. Тоня сидела, застыв в ожидании, вся — внимание. Остальные пока еще пофыркивали и перебрасывались шуточками.

«Не время», — подумалось ему.

— Может, пока других послушаем или песню споем?.. — предложил он вслух.

— Нет, нет! Ты же обещал, еще на перевале договорились! — зазвенели девочки.

А ему не хотелось теперь говорить.

— Тише, звезда падает! — поднял вдруг он глаза к небу. Все разом замолчали, напряженно вглядываясь в небо.

Стало тихо, непривычно тихо даже для гор. Почти над самой головой проухал филин. Беззвучно, стремительно носились над костром летучие мыши, возникая как будто из ничего и снова пропадая во тьме. Стал слышен далекий шум горной речки в ущелье. С тихим шелестом трущихся друг о друга штанин Гия переоделся и под конец натянул на себя толстый свитер с капюшоном. Небо несколько раз перечеркнули сорвавшиеся звезды.

— Вот! — вскрикнул тихо кто-то, и вновь наступила тишина.

Хорошо смотрится небо в такую ночь. Ведь надоедает все. И бравые песни, потасовки, и анекдоты, накопленные для ночных бдений. Все, кроме этого привычно-непривычного неба. Кроме взгляда вселенной, и таинств, и чудес ожидаемых.

Поймать мгновение. Нагрузить его своими желаниями — и все сбудется! Августовское небо в горах! Скольким оно было надеждой в этот миг загаданного счастья! Но ухватит ли кто-нибудь за хвост волшебную птицу фаскунджи? А становилась когда-нибудь Золушка принцессой? Может, это и есть мечта-надежда на свершение нашего несбыточного счастья?

«И вот странно же сказано: труд создал человека; но обязательно здесь одно: труд и мечта! Может, первична даже мечта! А может, желание — прежде всего приближение к мечте, или, выполняя ее, человек

и начал трудиться?» — так размышлял бородач, самый сильный и смелый, самый большой и искушенный из них. А что же остальные? Ведь слабым и особенно де-
вухкам в такую ночь больше мечтается?..

Звезды падали часто. Притихшие у костра до боли в глазах всматривались в небосвод, и им казалось: вот еще чуть-чуть — и задумается желание раньше, чем погаснет падающая звезда, и все заветное исполнится тогда обязательно.

Небо роднит и разобщает нас. Человек, животное всегда страшится неизвестного. Даже звери могут совершенно забыть о вражде, испугавшись чего-то огромного и непонятного, что не под силу преодолеть им. Как в паводок на полузатонувшем дереве, единственном среди бушующих волн. Вот если бы человечество почаще поднимало глаза к небу!.. Теснее жались бы тогда люди друг к другу. Но кормилица под ногами, и смотреть в небо человеку очень мало дано. «Не зевай!» — говорят, как только поднимаешь голову. «Смотри под ноги!» — предупреждают уже строже. «Надо его вернуть на землю!» — шепчутся. И пощады уже не жди. Так наказывается каждый, увлекающийся миром, недостижимым для нас.

Странно все же глаз человека устроен. Смотрят все одинаково. А видят разное. Глубину и цвет Вселенной каждый воспринимает по-своему. Одному хочется взлететь да познать, другому — укрыться под твердой надежной крышей от всего непонятного, отгородиться. И так каждый по-своему, каждому свое.

«Хотите почувствовать невесомость? — думал Ника. — Сперва оторвите свой взгляд от всего земного. Напряженно всматриваясь в созвездие, постарайтесь найти свою, только вам улыбающуюся звезду, укрепите на ней свой взгляд, попроситесь к ней, и вы против разума и опыта близких вам вдруг почувствуете, что отрываетесь от земли и уносите в небо... Только переборите свой страх. Хоть один раз избавьтесь от него, и вы взлетите свободно. Только не бойтесь! Хоть раз уверуйте в свою судьбу, в свою свободу, уверуйте в самого себя, снимите оковы с желаний и с сердца своего!..

Нет, это невозможно, но я верю!.. Невозможно

оттого, что сам боюсь, сам страшусь этой свободы, этого сладкого пьянящего слова... А как оно манит, как хочется хоть раз оторваться от всего, вздохнуть полной грудью, запеть свою песню без стеснения!..»

Безоблачное небо мерцало, играло мириадами огней. Казалось, свет проходит через звенящие хрусталики, и с неба льется музыка вселенной.

Жадно, с упоением смотревший в небо Ника потихоньку, незаметно стал откидываться назад. Тело его расслабилось, медленно начался терять свой вес. Руки и ноги, потеряв опору, потянулись к небу. Вот еще миг, и взлетит он, нарушив незыблемые законы притяжения, избавившись от всех слабостей человека, подыметя над земными страстями, страхами и привязанностями. Полетит свободно и легко — как во сне. Откроет замки недостижимого: войдет в мечту. Руки и ноги, утратив тяжесть, тянулись к звездам. Только большое туловище держало их в цепком плену Земли. Дрожь сладостных грез подхватывала все свободное от тяжести и уносила в небо. Все больше запрокидывая голову назад, как пловец, лежащий на спине, он почувствовал парение после долгих мук и сильнее откинул назад плечи и голову, чтоб рывком вынести свое тело наверх и поплыть в неведомое ничто. Еще чуть-чуть напряжения, и он почувствовал тело странно легким — так бывает, когда сидишь в мелкой воде у самого берега и даже невысокая волна оторвет тебя от гальки, подхватит, и ты закачаешься, как щепка.

Во сне он часто испытывал чувство такой легкости, но наяву? Он пошевелил ногами, руками — ничем не касался земли. На ладонку всего поднялся, но ведь поднялся же?.. И на месте уже ничто не удерживало — мог подняться вверх, влево пролететь, вправо, оказаться над костром, и все это было так просто, легко! Как плыть под водой — ведь многие и не подозревают, не верят, что смогут, — таким недоступным это кажется. А ведь иные плавают!.. И Ника парил над землей, но он дышал свободно — и только в этом была разница. Он попробовал еще раз — влево, спиной, — и вовремя приостановился, чуть не врезавшись в колючие облепиховые кусты, перевернулся

на грудь и шагах в десяти от костра сделал круг. Получилось! И легче, быстрее, чем он смог бы проплыть под водой!

Как он мечтал, когда смотрел с высоты, сколько раз виделось — прыгнет вниз, и плечи расправит как крылья, птицей будет парить! Неужели может? Неужели может все то, что еще вчера казалось невозможным? Ника набирал высоту быстро и плавно, без рывков. Так, стоя на дне озера, опускаешь вниз руки и всплываешь — приблизительно так. Ника снова лег на грудь, чуть опустил плечи. Высоты поубавилось, зато появилась скорость, и, раскинув руки, планируя, Ника зашел на большой круг.

«Я верил — и у меня получилось! Я хотел стать свободным — и стал!..»

Свободен! Какое слово! Осознавал ли он всю его глубину? Наверное, нет. Не знаю. Свобода — чувство, в некотором роде обратное боли: о боли помнишь, пока болит, а свобода вспоминается, когда ощущаешь ее потерю. И счастье так же — говоришь себе: я счастлив, — а оно уже ушло.

Ника кругами, словно по большой спирали, спускался вниз. Потом сжался в комок и стремительно, камнем полетел наземь, мог удариться, разбиться, но вывернулся, чуть не задев верхушки деревьев, и, раскинув руки, снова круг за кругом стал подниматься в высоту.

Сверху лагерь у озера и костер казались маленькими. Если у костра была лишь плотная черная ночь, то отсюда были видны нагромождения гор, освещенные голубым, и лес на склонах, лужайки, большие деревья, разбросанные поодиночке там и сям, и даже звериные тропы, а в темном неподвижном озере костер и освещенная палатка отражались, как в зеркале. У горизонта рассеивался желтовато-красный, словно замутненный свет: «Это тот поселок, откуда мы вышли два дня назад», — догадался Ника. И свет поселка нехорошо разбавлял голубоватое сияние, что заливало все вокруг.

Первыми чужака обнаружили летучие мыши и писком подняли тревогу. Сильно взмахивая крыльями, пролетела птица с горящими глазами — наверное, хищница, охотница, но на Нику не напала — может

быть, побоялась сама стать его добычей. А летучие мыши чуть не исцарапали ему лицо, носились у самых глаз. Ника взмахнул рукой — поймать не смог ни одной, но двух задел, отшвырнул от себя, и они, с шумом упав вниз, прошуршали в кустах. Остальные, видя их гибель, мгновенно отлетели и больше не приставали. Может быть, еще кто-то наблюдал за этим сражением. Но атака была отбита, и Ника получил право на какую-то свободу действий, хотя это была не та свобода, о которой он думал до взлета. Небо тоже поделено между птицами, как между людьми — земля. Сначала люди отнимают земли у зверей, а потом — друг у друга, и свободного места нигде не было и нет, и здесь свобода — как понятен был вкус этого слова! — оказалась всего лишь правом на попрание чужих прав, и выходило, что человек больше хищник, чем любой зверь, и никуда от этого не деться, какими словами об этом ни говори. Птице, летучей мыши Ника захотел уступить. Человеку уступил бы? Нет! Он боролся бы до последнего вздоха, боролся бы всем своим существом — и свобода получалась утверждением его прав. И больше ничем.

Раньше я говорил, что только во время большого ничегонеделания происходит с нами такое — завладеет нами какая-то мысль, а к какому приведет решению — неизвестно.

Свободен или нет — это зависело только от твоих желаний. Но если ты был себе хозяином и волен был делать все, что хотел, то этим же самым ты задевал права других — иначе не выходило. Нельзя утвердиться в своих правах, не ущемив чужих, — права все утверждают только в бою, где бы ты ни оказался и что бы ты ни делал; и у слов «свобода» и «право» получался двойной смысл — первый подразумевал борьбу и победу, хотя многие, говоря «свобода», имели в виду лишь победу, исключая борьбу и лишая, таким образом, смысла слово «свобода».

Где-то далеко закричала сова. Ника перестал парить и, вытянув вперед руки, стрелой полетел вниз. Потом, оказавшись у костра, скользя боком, описал полукруг и неслышно опустился на свое место. Здесь никто и не заметил его отсутствия. Все так же смот-

рели на небо, и каждый думал о своем. Наверное, любой из них хотел сказать: я человека видел в небе, высоко, птицей летел он по кругу и где-то около нас опустился... — каждый мог это сказать. Но все молчали. «Может, я задремал и мне показалось, — думал каждый,—а надо мной станут смеяться, скажи я про человека в небе». Или все они просто испугались? Всегда боишься того, чего не знаешь. А большинству сидящих здесь даже собственное «я» было неведомым.

«Еще раз», — подумал Ника, и на этот раз получилось еще легче — он откинул голову и расправил плечи, и уже поднялся на две ладони от земли. А потом медленно опустился.

«А ну, еще», — сказал он себе и приготовился, чтобы было удобнее. Взлетит как птица, и теперь уж все поднимут крик, увидев его летящим, а он сверху их успокоит и каждому объяснит, покажет, чтобы они все тоже...

Ника привычным движением откинул голову, резко расправил плечи, чтобы быстрее на этот раз взлететь в неведомое ничто. И эта нетерпеливость, неосторожность в движениях, предвкушение удачи, затмившее разум, тяга к быстрому освобождению и погубили его. При сильном толчке назад он случайно задел сидевшую сзади него девушку. И прикосновение к ней все сразу разрушило. Земное притяжение вновь вступило в свою силу, и, почувствовав мягкость девичьего живота и упругость груди, Ника застыл. Начав лететь, а только приподнявшись, он мгновенно и с болью опустился на прежнее место. Упал с высоты тяжестью всего земного, уцелевшего в нем.

И не осталось больше ничего, кроме сильного желания. Он не успел опомниться, как движение вверх сменилось резким броском вниз, в пучину всего того земного, от чего уже не уйти, не скрыться, мимо чего не пройти. Шеей, затылком вживался он в податливое желанное тепло. Торжественность необъятного, холодное свечение недостижимого сверкающего чана неба уже не манили, не тянули к себе, а наоборот, все сильнее отжимали к земле, вдавливали его в горячую бездну. Тело вновь обрело тяжесть и силу. Нежные звуки хора очищения перекрыл мощный зов про-

должения рода человеческого. Он не мучил себя вопросом, глупо восклицая: «А может это любовь?» Ибо знал, уверен был, что любовь тоже возвышает, зовет к полету. Здесь же было наоборот. Но Ника не противился, а забыв про все и вся, отдался радости происходящего. Все радовало его уже и пленяло. И покрасневшие лица у костра, и тихий всплеск воды в озере, сказочные очертания видимого вокруг. Резкий переклик ночных зверей и птиц, и таинственный шум леса, и нежные, как бы случайные прикосновения неопытных рук Ирены, с каждым разом все свободнее ласкавших его, и сообщающийся ему через них трепет ожидания.

Костер затухал, изредка бросая в небо с треском рассыпавшиеся искры. С гор тянуло прохладой, озеро дымилось молочным паром. Ярко, непривычно для горожанина горели звезды.

У костра молчали. Великое разобщение вступило в силу. Казалось, мир застопорил, остановил вечное движение, загнав человека далеко-далеко в дебри свои, оставив снаружи непроницаемые маски вместо лиц.

— Тишина-то какая! Явно где-то поблизости девочка рождается! — тихо проговорила Майя и грустно вздохнула. И как будто от этих слов что-то фыркнуло, мир снова ожил, и тишину разорвал непонятный грозный шум.

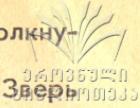
Что-то большое властно шло на них. У костра вздрогнули, сжались. Ника, собравшись в сгусток мощи, рывком встал. В руках его поблескивал ледоруб, по-боевому, клинком направленный в сторону надвигающейся силы, опасности для них, для него.

— Это медведь! — уверенно сказала Тоня и, деловито расшевелив огонь и подкинув хворосту, вытащила из костра горящую головешку, похожую формой на посох.

Гия так и застыл с бутербродом, поднесенным ко рту. Глаза его расширились, блестели, губы, сперва бесшумно шевелясь, произнесли звук, который, ширясь, стал походить на причитания обреченного.

— Я говорил — не надо!.. Говорил, не надо в это чертово ущелье, ведь и он предупреждал, сколько раз я показывал его свежий след, а старшой все смеялся...

— Бери ледоруб и иди к Нике! — зло подтолкнула его Майя.

— Нет, нет! Нет! Я углями закидаю лучше!..  огня боится!

Гия лихорадочно побросал остатки хвороста в костер, и, сидя на корточках, стал раздувать огонь. Арча дымилась. Зато сухая лиственница заалела быстро, и языки пламени взметнулись ввысь.

Ирена сидела не шелохнувшись.

Майя нашла свой ледоруб и облачилась в штормовку. Тоня размахивала своим «посохом», рассыпая вокруг мириады искр. Гия так и сидел на корточках и широкополой шляпой Ирены раздувал пламя.

— Петь надо и орать! Петь и орать! Так только отпугнем медведя, только так! — возбужденно кричал он.

— Я с тобой хочу! — послышалось или показалось Нике. Боком, пятясь подходила к нему Майя. Ледоруб дрожал в ее руках, и голос предательски срывался.

— Я с тобой! — прошептала она более твердо, подходя к нему вплотную.

— Иди к костру!

— Нет!

— Иди... — обласкал он ее взглядом и, наклонившись, слегка коснулся лбом ее кудрей, как бы благодаря и одновременно отправляя ее обратно.

Майя вновь отрицательно покачала головой. И в это мгновение...

Белое видение с шумом возникло из тени освещенной костром палатки, игриво выбрасывая ноги и как бы светясь всем телом. Мимо костра пронеслась белая лошадь. Распустив гриву и приподняв хвост, с победным ржанием промчалась она сквозь заросли ежевики и скрылась в черной чаще подступавшего к поляне леса. Топот копыт медленно угас, и вновь нестерпимо звонко застрекотали цикады.

Ника медленно опустил ледоруб.

— Я испугался, честно... — услышал он за спиной смущенно-заискивающий голос Гии.

Обернувшись, Ника поискал Майю. Она не торопясь шла к своему месту. Долго, сосредоточенноправляла сложенное вчетверо одеяло, а потом устало опустилась на него.



Тоня вернула свой огненный посох костру и стала готовиться ко сну. Только Ирена сидела все так же, не двигаясь.

— Я испугался... — снова послышался Гиин голос.

— Пошел ты к чертовой матери со своей честностью, — прервала его Майя.

Девочки заговорили. Гия стал спорить до хрипоты, доказывал, что сейчас мужчине для утверждения места в жизни не обязательно идти с ледорубом на медведя, главное уже в другом... Потом он достал гитару из чехла, настроил и заиграл. Играл очень хорошо, почти виртуозно.

Ника не участвовал в споре Ги и с девочками. Он сидел на прежнем своем месте, как зачарованный смотрел вслед удалившемуся шуму, и сердце его переполняла радость от сознания причастности к чему-то неведомому и значительному.

Гия играл увлеченно, артистично, склонив голову на бок. Все слушали его с большим вниманием, с наслаждением лоя каждый звук и не отрывая глаз от игравшего.

— Гриф надо отпустить! — сказал вдруг он и на середине прервал песню. — А Ника пусть пока расскажет обещанную историю...

— Ну играй, пожалуйста, играй! — просили его.

— Не могу, — ответил он с улыбкой. — Вот отпущу гриф, а пока Нику послушаем.

— Я тебя поцелую... Если ты сыграешь, не трогая грифа! — почти пропела Ирена, обратив свой открытый, светлый взгляд к Гие. — Я не целовала никогда никого! — призналась она как бы только ему.

Все сконфуженно замолчали, стало тихо.

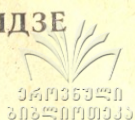
— Не пойдет! — со злостью проговорил Гия и достал из кармана ключ для грифа. — Мне мои пальцы дороже!.. Не целовалась, хм... Так они тебе все и скажут, как же! Все расскажут. Ты спроси, только спроси... — обернулся он к Нике.

Бородач не ответил.

Костер снова начал затухать. Ника встал, обошел его и вновь посмотрел в сторону опушки леса.

— Лошадь в городе... Она была белая и чопорная чуть-чуть, — начал он.





ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ ТРИАНГУЛЯЦИЯ

Рассказ

В ЭТОТ день Москва, как во все времена, была суетлива и шумна.

Ладо вышел из Курского вокзала на многолюдную площадь и остановился, не зная, куда идти. Вокруг него торопливо мчались люди — каждый со своей заботой.

«Так куда же мне идти?» — думал Ладо.

Он приехал в Москву учиться — хотел поступать в студию Камерного театра.

В Москве у него не было ни одного знакомого. Ни одного... Но в кармане было двадцать писем от его знакомых к их знакомым, которые только и ждали его приезда.

Уж они-то его приютят. Ну, если не все двадцать, то хоть один из них...

Моросил дождь. Дул холодный ветер.

В те далекие годы люди еще не убивали собак. Одна из бездомных дворняжек подошла к Ладо и, виляя хвостом, обнюхала его.

Ладо сам был голоден и ничего не мог дать собаке. Он погладил ее и заглянул в ее добрые, слезящиеся глаза.

«Ну вот, у меня уже есть друг!» — подумал Ладо, и у него стало легко на душе.

Он перебрал пачку писем, не зная на каком остановиться, потом, закрыв глаза, вытянул одно и пошел бродить по Москве...

Домниковка.

Поднялся по грязной лестнице на третий этаж/
Длинный, темный коридор. Много дверей — как в го-
стинице.

Постучал в первую попавшуюся.

— Вам кого? — спросил сильный мужской голос за закрытой дверью.

— Простите, Варвара Петровна здесь живет?

— Жила да померла. Нашел кого вспоминать!

Шаги за дверью стихли.

Ладо спустился вниз.

Впереди еще девятнадцать адресов. Девятнадцать надежд!

Он не знал расположения московских улиц и выбирал письма наугад. Можно было бы сократить маршруты, если б знать — какая улица ближе к тому месту, где он стоял. Но Ладо не знал этого и ходил пешком по всей Москве из одного конца в другой, теряя много времени и сил. Иногда ездил в трамвае. Но для этого надо было расспрашивать прохожих, каким трамваем куда ехать, а не у всех было время для долгих объяснений.

Метро тогда еще только строилось.

Большая Ордынка.

Старый, хмурый «доходный» дом.

Ладо поднялся на пятый этаж.

Звонит. Стучит. Прислушивается.

Наконец послышалось какое-то царапанье. Дверь отворилась. Сгорбленная подслеповатая старушка («добрая душа» — так ему говорили о ней).

— Вам письмо.

— Мне письмо? От кого ж это? Вот уж кои веки ни от кого не получала писем... Ну, заходите, почитаем вместе...

В комнате (да комната ли это? — каморка) пахло мышами.

— Садитесь! — она указала на сундучок, стоявший в углу.

Маленькое оконце было затянуто паутиной. В полумраке трудно было что-либо разглядеть.

Старушка перекладывала врученное ей письмо из

одной руки в другую, потом протянула его Ладо и сказала:

— Я к старости плохо видеть стала, так уж мне его и почитайте!

Ладо неловко было читать, что там про него написано. Но пришлось.

В общем, там его описывали как невероятно скромного юношу (не пьет, не курит!), приехал, мол, в Москву учиться, и вы, добрая душа, приютите его в своих хоробах. За соответствующую оплату, конечно.

Ладо старался читать громко и отчетливо, повышая голос на всех лестных для него словах.

Старушка слушала и после каждой точки кивала головой.

Ладо кончил читать и с надеждой посмотрел на хозяйку хором.

— Ну и что? — спросила она.

— Как ну и что?.. Тут же все сказано.

Старушка еще больше сгорбилась, оглядела Ладо с ног до головы и сказала:

— Я вас не знаю, а тех, кто прислал это письмо, я уж и не помню. Так как же я могу поселить вас у себя? Это невозможно. А вдруг вы обворуете меня или еще что... Нет, это никак невозможно.

Ладо извинился и ушел.

Первую ночь он провел на Курском вокзале, вздрагивая, как воришка, при виде милиционера.

Марьяна Роца.

Двухэтажный деревянный дом с резными кренделями и пряниками на окнах. До сих пор Ладо видел такие дома только на картинках к русским народным сказкам.

Возле дома — кудрявое дерево. Наверное, рябина, подумал он, никогда не видевший рябину.

Вот бы пожить здесь!

Дверь открыла полная, краснощекая женщина — не старая и не молодая, не красавица, но и не уродка.

— Вам письмо от Вахтанга Левановича. Из Тбилиси.

— Письмо от Вахтанга Левановича? Интересно.

Владимир Марганидзе. Иррациональная триангуляция.

Давно он не писал, давно. С чего это вдруг вспомнил?

Она быстро пробежала глазами две тетрадных странички и, когда дошла до сути дела, скомкала письмо и швырнула его на пол.

— Поздно вспомнил. Надо было раньше...

Она зло посмотрела на Ладо.

— А тебя он ко мне заместо себя в любовники посылает, что ли? Тьфу на тебя, мальчишка! Не дорос еще, чтобы со мной любовью заниматься!..

Ладо опешил. Не знал, что сказать.

— Извините, но... Я совсем не знал... Мне бы угол снять на время, пока устроюсь...

— У меня углов нету. Я вся круглая. А ну, валяй отседова!..

Ладо скатился вниз по лестнице, а вдогонку неслись слова, каких он еще не слышал.

Моросил дождь. А ботинки — дырявые...

Вторую ночь он провел на Савеловском вокзале. Как хорошо, что в Москве так много вокзалов!..

— Гражданин! — (Так называли его впервые). — Здесь спать не полагается. Ты куда едешь?

— В Архангельск!

— Так то с Ярославского вокзала, а это — Киевский. Здесь тебе делать нечего!

В самом деле, здесь ему делать нечего.

Зашел в туалет, ополоснул заспанные глаза холодной водой и вышел на привокзальную площадь.

Было раннее утро. Увидел трамвай. Нашел уютное местечко в уголке и уснул.

За три копейки он кружил по Москве три часа и видел волшебные сны.

Из всех снов ему запомнился один: рыжий лохматый пес протягивает ему лапу, а глаза его полны слез. Вышел неизвестно на какой остановке — да какое это имело значение!

Надо начинать все сначала.

Арбат.

Ладо протянул руку к звонку, но вдруг услышал звуки рояля.

Что-то давно знакомое вдруг нахлынуло на него. Он прислушался. Нет, это не Бетховен и не Шопен. Это — экзерсисы Ганона.

Когда-то и он играл их. В те мальчишеские годы он ненавидел эти экзерсисы — в них не было музыки. А теперь он стоял за дверью и слушал их, и они казались ему лучезарной музыкой, возвращающей ему его детство и вселяющей надежду на будущее.

Ладо со всей силой нажал на кнопку звонка.

Дверь открыла девочка лет пятнадцати. У нее были небесно-голубые глаза, рубиновые губы и жемчужные зубы. (Боже, какие банальные сравнения! Но она в самом деле была такой).

— Извините, у меня письмо к Сокольским.

— Сокольская — это я!

— Вы?

Ладо сделал паузу. Он был смущен.

— Но, наверное, это письмо не к вам, а к вашим родителям...

— Мамы и папы дома нет. А я здесь. Давайте письмо!

Она вскрыла конверт, но потом, спохватившись, сказала:

— Да вы входите, чего стоите!

Ладо вошел.

Таких квартир он еще не видел. Высокие потолки. Сверкающий паркетный пол. На стенах картины. На окнах — гардины. Мебель, на которую он не осмелился бы сесть.

— Садитесь! — сказала она.

— Нет, благодарю, я постою.

Она раскрыла письмо. Быстро пробежала глазами.

— Вот оно что! Ну ты садись, садись, не стой, как чучело!

Это придало Ладо бодрости.

— Так ты — грузин?

Этого вопроса он ожидал меньше всего.

— Да, грузин.

— Ты не похож на грузина.

— Почему?



— А где твои усики?

— Еще не отросли.

— А долго еще ждать, пока они отрастут?

— Разве это так важно?

— Ну, это я так, для продолжения разговора.

— Зачем же нам продолжать разговор, если говорить не о чем?

Пауза.

Оба смущены. В самом деле — нелепо как-то...

Первым заговорил Ладо.

— Когда я стоял за дверью, я слышал, как ты играла на рояле...

— Ну и что? Тебе понравилось?

— Видишь ли, то, что ты играла, это еще не музыка. Но без этих экзерсисов музыки не бывает. Я это потом понял.

— А я до сих пор еще не поняла этого. И вообще музыка мне ни к чему. Это я играю для мамы и папы. Так полагается, чтобы девушка — это, значит, я — была украшением общества: умела играть на рояле, танцевать и говорить по-иностранному.

— И на каком же языке ты со мной собираешься разговаривать?

Девочка вдруг стала взрослой. С душевной теплотой она сказала:

— На человеческом... Что ты собираешься делать в Москве?

— Учиться.

— Где?

— В студии Камерного театра.

— Ты хочешь стать актером?

— Нет, режиссером.

— Вот чудесно! А я хочу стать актрисой! Я хочу поступить в студию театра Вахтангова. Но мои мама и папа не хотят этого. Они хотят, чтобы я стала врачом. А я боюсь крови и не могу видеть страдания людей. Ну какой из меня врач? А сыграть врача я смогу!

Ладо смотрел на эту девчонку и думал: а не похож ли он на нее?

— А как твои мама и папа? — спросила она.

— Мои мама и папа и не знают, что я поехал в Москву.

— Почему? Ты убежал из дому?

— Нет. Я живу с бабушкой, а родители мои жи-
вут порознь, сами по себе, и им не до меня...

Ладо помолчал и сказал самое главное для себя!

— Мне бы где-нибудь пристроиться на ночевку,
а там...

— Я думаю, мама не разрешит тебе жить у нас...

— Почему?

— А вдруг ты соблазнишь меня?

— А ты соблазнилась бы?

— Ну конечно!

— А я не буду соблазнять тебя.

— Почему? Я тебе не нравлюсь?

— Нравишься. Но ты же еще малышка.

— Малышка? А ты помнишь, сколько лет было
Джульетте?

— Четырнадцать.

— Так я на год старше нее!

Они рассмеялись, как старые друзья, имеющие
право на такую шутку.

— Знаешь что, — решительно сказала она, — да-
вай убежим!

— Куда?

— Куда-нибудь. И будем вместе учиться в теат-
ральной студии. Ты станешь режиссером, а я — акт-
рисой и буду играть в твоих спектаклях.

— А где мы будем жить?

— Ну, разве это так важно?

— В том-то и дело, что без крыши над головой
нам не обойтись. Я могу увезти тебя только на Курс-
кий или Савеловский вокзал. Там у меня забронирова-
ны скамейки.

Ее небесно-голубые глаза потускнели. Она поняла
разницу в их судьбах.

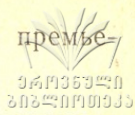
— Вот видишь, как глупо все в нашей жизни полу-
чается. Ты хочешь идти в театр, но тебе негде жить.
А мне есть где жить, но нет театра. И, наверное, нико-
гда не будет!

— Будет! Ты не отчаивайся!

— Нет, я готова, как ты, почевать на вокзале,
лишь бы поступить в театр.

— Ночевать на вокзале тебе будет неуютно. Спи

в своей кроватке, Джульетта!.. Встретимся на премьере!..



Проходя по Тверскому бульвару, мимо Камерного театра, Ладо еще раз внимательно перечел объявление о приеме в студию.

Крупными буквами было напечатано: «Принятые в студию общежитием не обеспечиваются».

Дождь все усиливался...

Малая Дмитровка.

Старый, измученный жизнью, давно не бритый человек читал врученное ему письмо.

Прежде чем вскрыть конверт, он сделал большой глоток из полупустой бутылки.

Кончив читать, он издал горловой звук, который никакими фонетическими знаками передать невозможно.

— Значит, насколько я понимаю, ты хочешь идти в театр?

— Да, — робко ответил Ладо.

— А зачем?

— Ну как зачем... Я хочу стать режиссером.

— Ха! Только тебя не хватало! Хватит нам Станиславских да Мейерхольдов! Они погубили нас, актеров... Мамонт Дальский и Орленев обходились без режиссеров.

— Вы были актером?

— Еще каким! Я тысячу раз душил Дездемону и две тысячи раз втыкал шпагу в пузо Полония! Но кто это помнит?..

Он сделал еще один глоток.

— Нет, не иди в театр. Ты погубишь себя... Я понимаю — слава, аплодисменты, цветы и прочее, но всё это — суета сует... Ты читал Экклезиаст?

— Нет.

— Ну вот видишь, а хочешь идти в театр... Выпьешь со мной?

— Спасибо, я не пью.

— Запьешь! — уверенно сказал он. — Я тоже когда-то не пил и мечтал о славе. (Еще один глоток). Однажды — на юбилей — мне преподнесли

лавровый венок. И ты знаешь, что сделала с ним моя жена? Ей наплевать было на мою славу. Она срывала с этого лаврового венка листик за листиком и клала в огуречный рассол. И от моей славы ничего не осталось.

Он опять поднес бутылку ко рту.

— Нет, поверь мне, не иди в театр, не гонись за славой!

— А я не гонюсь за славой. Я хочу работать в театре.

— Работать можно и водопроводчиком. Почему именно в театре? Научись какому-нибудь полезному делу. Стань — повторяю — водопроводчиком. Ты будешь независим. (Это слово он произнес на высоких тонах). Тебе никто не будет завидовать, у тебя не будет врагов, ты будешь свободен! (На самой высокой ноте, как апофеоз монолога).

В бутылке осталось совсем немного, но он сделал еще один, последний глоток.

— Слава? Уж я-то знаю, что это такое. Ничто так не угнетает, как слава. Насытившись славой, ты бежишь от нее, скрываешься от преследующих тебя поклонников, от их обывательского любопытства. Ты не можешь, как все люди, спокойно выйти на улицу, подышать свежим воздухом, остаться наедине с собой, смотреть на небо. Тебя все время будут преследовать влюбленные в тебе «почитатели», черт бы их побрал, которые ни хрена не понимают в искусстве.

Он взял бутылку, поднял ее на уровень глаз и, убедившись, что она пуста, швырнул ее на пол.

— Значит, тебе нужно пристанище, убежище, жилище, наконец... Так вот — живи у меня. Но знай — каждый день ты будешь видеть рядом с собой несчастного человека, который прокликает театр.

Куда теперь?..

Таганка.

Если бы Ладо знал, что это письмо поставит его в такое дурацкое положение, он порвал бы его еще в Тбилиси...

Но как он мог знать!..

Открыла дверь пожилая полная грузинка.

— Здравствуйте! Я приехал из Тбилиси и вот привез вам письмо от Русудан Георгиевны.

— Спасибо. Пожалуйста!

Неожиданно здесь, в Москве, Ладо оказался в грузинской квартире. На стенах — портрет Руставели, репродукции картин Пиросмани и Гудиашвили, фотографии родственников — близких и дальних.

Из кухни доносился дразнящий запах чахохбили.

А у Ладо на обед сегодня, как и вчера, пирожок с капустой и стакан кваса.

— Ну, садитесь, рассказывайте... Как поживает наша дорогая Русудан?

Вот с этого и начались его страдания. Ведь он этой Русудан Георгиевны и в глаза не видел. Ее видели и, наверное, знали, как она поживает, те, которые дали ему ее письмо. Она — знакомая его знакомых, но не его знакомая.

Полагая, что раз Русудан Георгиевна в состоянии была написать письмо, значит, она в добром здравии, Ладо бодро ответил:

— Благодарю вас. Хорошо. Она просила передать вам и всей вашей семье сердечный привет.

— Спасибо. А как поживает Сардион Илларионович?

Час от часу не легче... А кто такой этот Сардион Илларионович? Наверное, муж Русудан Георгиевны...

— И Сардион Илларионович чувствует себя хорошо... Там, в письме...

— Сбрил он наконец свою бороду?.. Сколько раз я ему говорила — рано в шестьдесят лет в старики записываться. Так он хочет быть похожим на Акакия Церетели. Но одна борода не делает человека поэтом. Сколько раз я ему говорила...

Ладо изобразил на своем лице улыбку и сказал:

— Да, он сбрил бороду, но она снова отросла...

Следующий вопрос заставил его вздрогнуть.

— А как перенес операцию Серго?

Бог его знает, как он перенес операцию, и какая это была операция, и кто такой этот Серго? Но лучше сообщать приятные новости.

— Операция прошла благополучно, дядя Серго поправляется, уже выписался из больницы,

— Дядя Серго? Ты про какого дядю говоришь? Я тебя спрашиваю про их внука Серго. Ему собирались вырезать гланды.

— Ах да, с маленьким Серго все в порядке, и дядя Серго тоже поправляется.

— Не знаю никакого дяди Серго. Вот еще, новый родственник объявился... Ты что-то путаешь, генацвале.

У Ладо ком подступил к горлу, и он еле выговорил:

— Там в письме все сказано, прочтите, пожалуйста.

— Письмо я успею прочитать. Ты лучше скажи — за кого решила выйти замуж Манана — за Гурама или за Тенгиза?

— Вот этого она мне не сказала! — без всякого риска ответил Ладо.

— Тебе-то, конечно, не сказала, а отцу и матери сказала? Что об этом в семье говорят?

— Ну, видите ли, при мне об этом не говорили. Может быть, этот вопрос еще не решен?..

— Как не решен, когда меня уже на свадьбу пригласили. Я их единственная московская родственница — самой почетной гостьей буду!

— Прошу вас, прочтите письмо!..

— Письмо мы будем читать все вместе, когда придет с работы Зураб — это мой муж — у него к тебе тоже много вопросов будет о его родственниках. Потом придут наши дети — Кето и Дато — им тоже будет интересно поговорить с тобой о своих двоюродных сестрах и братьях — Гулико, Маквале, Резо и Леване. Ведь они давно не виделись, а ты, наверное, встречался с ними перед самым отъездом.

— Да, конечно.

— Вот и хорошо. Приходи часам к семи, посидим и обо всем поговорим.

— Хорошо. Спасибо. До свиданья.

Пятую ночь он провел на Центральном телеграфе. В зале междугородных телефонных переговоров.

Он дремал на стуле, и всю ночь его вызывали в разные кабины из разных городов.

Но он никуда не шел.

— Барнаул. Седьмая кабина.

Вряд ли это его.

— Одесса. Пятая кабина.

К сожалению, это тоже не его.

— Тбилиси. Телефон не отвечает.

Может быть, это его?

Но кто ему может звонить? И все равно — телефон не отвечает.

Он радовался за тех, кому звонили из Барнаула, из Одессы, из тысячи других городов, и думал о том, что может быть когда-нибудь кто-нибудь будет звонить и ему.

Нет, я не буду рассказывать о всех хождениях Ладо в поисках закутка. Было всякое.

Были добрые люди, которые хотели бы помочь ему, но они сами нуждались в помощи. Ведь многое изменилось с тех пор, как написавшие письма расстались со своими московскими знакомыми. Наверное, они думали, что за минувшие годы ничего не изменилось. Но так ведь не бывает. Все меняется быстрее, чем нам кажется. Меняются обстоятельства, меняются люди. Кто-то переехал на другую квартиру, кто-то женился, появились дети, и им самим стало тесно. Там, где когда-то жили двое в трех комнатах, теперь живут пятеро в одной... Но Ладо ходил по Москве, не теряя надежды...

Сретенка. Перед Ладо стоял бледный человек с черной бородой.

— Вы Иван Николаевич Савельев?

— Нет. Но когда-то я был им.

— То есть как?

— А вот так. Мне надоело быть Иваном Николаевичем Савельевым, и я стал Николаем Ивановичем Лобачевским.

Ладо сделал шаг назад.

— Так что вам угодно?

— Видите ли, я приехал в Москву учиться, мне негде жить. Не могли бы вы хотя бы на короткое время сдать мне угол?

— Угол? Почему именно угол, а не пи эр квадрат? Это же гораздо комфортабельнее!

Ладо мгновенно вошел в «предлагаемые обстоятельства».

— Да, конечно. А сколько это будет стоить?

— Тысячу динариев каждое новолуние.

— Так дешево? Право же, мне неудобно стеснять вас...

— Пустяки!.. А как вы относитесь к иррациональной триангуляции?

— Гм!.. По-моему, этот метод весьма перспективен для решения всех до сих пор не решенных проблем.

— Вот именно! Дайте вашу руку! Я рад приветствовать в вашем лице своего единомышленника! Где ваш чемодан? Вот ложе, устланное покрывалом царицы Савской. Тысяча динариев, и оно — ваше!

— Благодарю вас, я сейчас сбегаяю за чемоданом.

— Торопитесь, юноша! Через девяносто девять лет будет полное затмение солнца, и вы не найдете дороги.

Это был предпоследний адрес.

Ладо ходил по бесконечным улицам Москвы и повторял про себя подготовленные к экзамену монолог Гамлета, отрывок из «Войны и мира» (раненый князь Андрей смотрит на небо и думает о ничтожности жизни) и басню Крылова «Осел и соловей».

Особые надежды он возлагал на басню, полагая этим сразить строгую приемную комиссию («Избави бог и нас от этаких судей!»).

Если бы он знал, что эту басню с такой же надеждой читали на экзаменах чуть ли не все мечтавшие стать актерами и режиссерами!

Дождь, дождь, дождь...

Колени подкашивались...

И вот последнее письмо.

Чистые пруды.

Ладо спустился по ветхим ступенькам в полуподвальную комнату. Полумрак, хотя еще светит солнце.

Здесь жил старый художник. Он был одинок и, видимо, обрадовался, что вот так, неожиданно, кто-то пришел к нему.

Наверное, он принял Ладо за безумца. Он спросил:

— Вы здоровы?

Ладо ответил:

— Не знаю.

— Прилягте вот здесь, — он указал на дряхлый диван. — Вот термометр. Начнем с этого.

Потом он вытянул термометр и глухо сказал:

— Да, 38,5.

Он прошел в дальний угол комнаты, открыл какую-то шкатулку, порылся в ней и протянул Ладо таблетку.

— Вот проглотите это. Запейте.

Ладо проглотил, выпил глоток воды и... уснул.

Когда он проснулся, старый художник сидел за столом и читал газету.

— Доброе утро! — хрипло сказал Ладо.

— Доброе утро! — ласково улыбнувшись, ответил художник.

Потом встал, походил по комнате и сказал:

— Ну, вы сегодня выглядите молодцом. Не то что вчера... Я плохо спал этой ночью — нет, нет, не из-за вас. Я вообще плохо сплю в последнее время. А эта ночь была интересной... Я давно не слышал монолога Гамлета «Быть или не быть?»... И вот вы прочли его этой ночью несколько раз — и каждый раз по-разному... Вы что — вообразили себя Гамлетом?

Ладо вскочил с постели.

— Вы подслушивали меня?

Старый художник пожал плечами и закурил трубку.

— Я не подслушивал. Я сидел и рисовал, а вы говорили... Говорили не как актер со сцены, а как обыкновенный человек рассказывает о чем-то сокровенном своему задушевному другу. Вот этим задушевым другом для вас в эту ночь оказался я... Ну, а теперь будем пить чай. Садитесь и рассказывайте о себе все, что вы хотите рассказать.

Они сидели, пили чай, и Ладо рассказал все, что мог рассказать, ничего не утаив, — о необыкновенной музыке, которую слышит он один, о волшебной игре света и тени на сцене, о скульптурных мизансценах, которые кроме него никто не мог бы придумать, о Гамлете, которого до сих пор никто не понял... Ну, и о том, что он приехал в Москву учиться и ему негде жить.

Старый художник допил остывший чай, прошелся по комнате и сказал:

— Я был бы рад приютить вас у себя, но скоро кончится мое одиночество. (Ладо показалось, что он сказал об этом с досадой). Ко мне возвращаются раскаявшаяся жена и блудный сын. В мои годы надо прощать людям их прегрешения... «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим...» Ну, вам этого не понять.

Старый художник вскинул голову, словно отгоняя другие, ненужные сейчас мысли.

— А теперь послушайте, что я вам скажу... Я прожил долгую и нерадостную жизнь. Я совершил много ошибок и не добился того, чего хотел. Это удел многих... Так вот, молодой человек, я хочу подсказать вам один выход из вашего безвыходного положения.

Ладо напрягся.

— Только заранее прошу вас — не обижайтесь. И спокойно обдумайте мой совет.

Он опять прошелся по комнате, волнуясь больше, чем Ладо.

— У вас есть прекрасная мечта. Чтобы осуществить ее, вам надо учиться. Здесь, в Москве. Но вам негде жить. И никто вам в этом помочь не может. К сожалению, и я.

Он закашлялся и подошел к окну. Стоя спиной к Ладо, он сказал:

— Вы только не обижайтесь на меня, но вот вам мой совет. Во вчерашней «Вечерке» есть объявление: московскому почтампу требуются почтальоны. Обеспечиваются общежитием. Поступайте в почтальоны. Будете жить в Москве. Будете ходить в Камерный театр. А потом, даст бог, войдете в этот театр со служебного входа. Главное — терпение. И вера в себя. Терпение и вера в себя, — повторил он.

Ладо заплакал. Гамлет и — почтальон!..

В восемнадцать лет трудно пережить такое. Старый художник подошел к Ладо и похлопал его по плечу.

— Ну, не надо, не надо. Я же предупреждал...

Он помолчал немного, потом сказал:

— А вот если бы мне сейчас было восемнадцать лет, и я, как вы, мечтал бы работать в театре, я не постеснялся бы на какое-то время стать почтальоном.

Спустя много лет Ладо понял, что этот добрый человек был прав. Но тогда... Тогда он поблагодарил старого художника за совет и попрощался с ним.

Спускаясь по лестнице, он столкнулся с пожилым, небритым, сгорбленным человеком. Это был почтальон. Левое плечо его согнулось под тяжестью сумки с газетами и письмами. Голова его была опущена, и, казалось, ему трудно было бы поднять ее.

Ладо долго смотрел ему вслед и думал: о чем мечтал этот человек, когда ему было восемнадцать лет?

Он выбежал на улицу. Сердце неистово колотилось.

Он подошел к берегу пруда, с отчаянием швырнул камень в летавшую над водой птицу и помчался на Курский вокзал. Те же замкнутые люди суетливо мчались куда-то, не замечая друг друга.

Та же собака — лохматая дворняжка с добрыми слезящимися глазами. Неужели она ждала его?

Ладо достал из кармана кусок хлеба и отломил ей половину.

— Прощай, друг! — сказал он. — Не отчаивайся! Все еще впереди!..

Но впереди было совсем не то... совсем не то...

На оставшиеся деньги он купил билет в бесплацикартный вагон и вернулся в Тбилиси.

...Спустя сорок лет он снова приехал в Москву.

Без иллюзий.

Ему был забронирован номер в гостинице «Москва». Он участвовал в мудрейших совещаниях, конференциях и симпозиумах.

Ничего иррационального. Все так, как должно быть. В театры не ходил — не до театров ему теперь.

Обедал в первоклассных ресторанах. Разъезжал по неузнаваемым улицам на «Волге».

На Чистые пруды пошел пешком. Как тогда.

Постоял полчаса на берегу помутневших с тех пор вод, посмотрел на дом, где жил старый художник, который знал, как трудно осуществляются человеческие мечты.

Ему смутно вспомнились необыкновенная музыка, которая когда-то звучала в его воображении, волшебная игра света и тени на сцене, его Гамлет, который промелькнул, как видение, и исчез навсегда...





КАКИМИ побуждениями, психологическими мотивами руководствуются люди, берясь за дела заведомо рискованные, чреватые неизмеримыми волнениями, нервным перенапряжением, бессонными ночами и полными самоотверженности днями, не имеющими ни одной спокойной секунды?

Вряд ли их поступками движет страсть к чинам и наградам.

Я — на стороне современных энтузиастов и верю, что будущее принадлежит им.

Именно они, борцы за будущее, стоят на правильных жизненных позициях, обладают даром проникать в самую суть сложных ситуаций, особым чутьем воспринимать общие беды и радости как свои собственные.

Если угодно, назовем это шестым чувством.

Естественно, именно такие люди создавали и создают здоровую общественную атмосферу.

...Своими глазами видел, и не однажды, как председатель исполкома городского Совета Геронти Кухалеишвили, секретари городского комитета партии

Амиран АБШИЛАВА

„ПОТИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ“

Окончание. Начало см. в №№ 10, 11.

Перевод Теймураза ЧОЧУА

Джемал Кахнани, Лейла Какулиа и другие ответственные работники в тропическую жару трудились, взяв в руки лопаты или грабли.

Именно на это ответил мне тогда с улыбкой Кухалеишвили:

— Достоинство человека — в труде. Город есть город, люди смотрят на нас, и все, что мы делаем, и хорошее, и плохое, как на ладони.

Не скрыл он и то, что в Поти много еще неблагоустроенных улиц, площадей и парков. Не совсем довольны жители города и работой железной дороги, водопровода, электрохозяйства, телефонного узла, торговой сети и других бытовых служб.

— Бывает, разворотим улицу (для нужд коммуникаций), из-за собственного головотяпства или отсутствия нужных материалов месяцами стоит дело, которое можно было сделать за два дня. Не идет вода, гаснет свет, безмолвствуют телефоны... И куда тут денешься от справедливых упреков трудящихся?! Вы, наверное, заметили, как много подобных упреков в нашей газете... Но ни газетные статьи, ни Кухалеишвили, ни прозорливый Тихов и ни такой энергичный секретарь, как Бакур Гулуа, без поддержки населения делу не помогут. А народ в свою очередь поддержит только тогда, когда увидит в тебе истинного патриота города!.. Если он заметит, что ты взялся за лопату не проформы и не агитации ради, а для дела, и что ты в первую голову заинтересован в благоденствии города, — он пойдет за тобой. Раз уж зашла речь о благоустройстве, должен сообщить тебе одну новость, — продолжает Кухалеишвили. — Поскольку мы разжились средствами, и городская казна не выглядит уже такой тощей, как прежде, у нас родилась идея создания дизайн-программы. Ведь одной из задач эксперимента является и улучшение эстетического и архитектурного облика города!

Так вот, мы уже договорились с ректоратом Грузинского политехнического института и условились: в проектировании эстетизации и благоустройства города наряду с местными специалистами примут участие и кафедры института.

В дизайн-программе мы планируем реконструкцию малых архитектурных форм, павильонов торговой сети и бытового обслуживания, колористики зданий и общественного автотранспорта, мостов через Риони, здания Фазисской академии и центральной площади, проектирование районов лич-

ных застроек, организацию отдыха трудящихся и решение других социально-экономических проблем.

Руководство этими работами поручено почетному гражданину города, лауреату Государственной премии СССР, архитектору Джемалу Давитая.

...Я внимательно слушал Кухалеишвили, и меня уже не изумлял разыгравшийся аппетит председателя городского Совета.

«...В прошлом году предприятия Поты произвели товаров на сумму в несколько миллионов рублей, за короткий срок добившись солидного прироста»¹, — было сказано на прошедшем в марте 1983 года заседании партийно-хозяйственного актива.

«С очень интересным и полезным почином «Максимум продукции — минимум затрат» выступил коллектив Потийского завода гидромеханизмов. Изготовлены опытные образцы земснарядов, обладающих большей надежностью и производительностью при меньшей материалоемкости. Внедряются и малоотходные, безотходные технологические процессы», «... Инициатива потийских машиностроителей была одобрена ЦК Компартии Грузии. Задача состоит в том, чтобы повсеместно распространить этот ценный опыт»², — так оценил первый секретарь ЦК Компартии республики Э. А. Шеварднадзе результаты одного из значительных мероприятий потийского эксперимента на XIII пленуме Центрального Комитета Компартии Грузии.

Каким образом достигли этого успеха потийцы?

Давайте послушаем первого секретаря Потийского горкома партии:

— При территориально-межотраслевом объединении создан отдел предметов народного потребления, жилищно-бытового обслуживания и применения вторичного сырья; это рабочий орган, ведающий вовлечением отходов в хозяйственный оборот, вопросами рационального использования материальных, энергетических, тепловых и трудовых ресурсов. В регионе этим делом, конечно, ведает финансовое отделение, но поскольку оно по своему профилю является службой не технической, а лишь финансовой, экономической, то, естественно, не смогло бы справиться с экономией без соответственного инженерного обеспечения; потому-то и создана была специальная служба, где

¹ Газета «Заря Востока», 1 апреля 1983 г.

² Газета «Заря Востока», 27 мая 1983 г.

люди разных профессий, конечно же, вкупе с финансистами, комплексно решают те или иные проблемы.

Как были сделаны первые практические шаги?

Какими путями предполагали потишцы увеличить, улучшить экономический коэффициент?

На этот вопрос нам ответит Виктор Тихов — первый заместитель председателя исполкома городского Совета, начальник территориально-межотраслевого объединения:

— Начали мы с паспортизации отходов. Составили их общий городской каталог, который снабдили также рекомендациями по использованию этих отходов. Эффективность этой системы работы дала нам полное представление об имеющихся, но нам до тех пор неведомых неиспользованных резервах. Таким образом, теперь они не являются для нас тайной — мы знаем, на каком предприятии, какого вида и сколько имеется отходов и остатков, и в случае надобности используем их.

Виктор Тихов тоже истинный потиец. Ему еще и шести не было, когда его родители поселились здесь. По-русски он разговаривает с грузинским акцентом, а по-грузински — с мегрельским.

Я вдвое старше Тихова, но, несмотря на разницу в возрасте, а порой на возникающие между нами разногласия, мы считаем друг друга единомышленниками. Каждый наш разговор заставляет меня забыть о возрастной дистанции. Меня захватывают масштабы интересов этого человека, его эрудиция, предусмотрительность и прозорливость, неутомимый поиск и методичное стремление к цели.

В разговоре, если к тому же его темой является эксперимент, Тихову не надо прибегать к соответствующим документам и диаграммам, которых у него великое множество и в кабинете, и в специально отведенной для этого отдельной комнате. Он, как говорится, и во сне может фактами, в логической последовательности, обосновать правомерность и перспективность поиска (пользуюсь случаем и хочу еще добавить: в этом очерке наряду с другими я использовал и предложенные им тщательно обработанные материалы, за что очень ему благодарен).

На этот раз меня интересовал вопрос кадров.

— Виктор, — обращаюсь я к Тихову, — когда я знакомился со структурой и штатом объединения, мне попала одна такая должность: заместитель начальника по кадрам. Вообще-то я понимаю, насколько важно укомплектовать пред-

приятия и учреждения соответствующими кадрами, но **но ведь**
этот вопрос решается на местах...



— Какова же ваша функция в этом деле? — обращаюсь я к Тихову.

— Сейчас объясню... Одну минутку... — извиняется Виктор и включает селектор. — Гизо, пожалуйста, зайдите ко мне!

Начальник объединения представил мне своего заместителя и, сказав, что Гизо Хоштариа курирует этот отдел в объединении, продолжил прерванный разговор:

— Да, вопрос с кадрами решается в первую очередь на местах, но часто бывает и так (следует сказать — по объективным причинам) — некоторые отраслевые коллективы не справляются со сложной проблемой обеспечения кадрами, их подготовки и переподготовки. Вот в этом-то направлении и облегчаем мы работу отделам кадров предприятий и организаций. Гизо расскажет нам о том, что делается у нас в этом направлении, поконкретнее.

— Первая наша функция заключается в том, что мы рассылаем на места рекомендации и информацию. Одним из основных пунктов этих рекомендаций мы считаем повсеместную необходимость резерва. С помощью соответствующего контроля стараемся снизить до минимума текучесть кадров, точно устанавливаем, кто выезжает из города на временные работы, кто вообще уклоняется от труда, вместе с отделением собеса заботимся о занятости пенсионеров, еще достаточно энергичных и изъявивших желание работать.

С целью лучшего трудоустройства демобилизованных из армии совместно с комиссариатом устраиваем встречи руководителей предприятий и организаций города с этим контингентом.

— Кроме того, — вступает в разговор Тихов, — вместе с предприятиями разрабатываем рекомендации по правильной профориентации молодежи, повышению квалификации работников ведущих профессий, аттестации номенклатурных работников и т. д.

...Теперь у меня сложилось определенное представление еще об одной стороне деятельности объединения.

Таким образом... (записываю) Тихов, несомненно, является генератором (если так можно выразиться) эксперимента, а Гулуа...

Бакур Гулуа — личность в Поти необычайно популярная. Да и что удивительного — первый секретарь городского ко-

митета партии, конечно же, должен пользоваться популярностью — сама должность предполагает большой авторитет, не говоря уже об остальных достоинствах.

Но авторитет завоевывается не должностью, а лишь бескорыстным служением интересам общества. Чтобы руководить людьми, нужно иметь на это моральное право.

Потийские коммунисты только тогда стали считать Гулуа своим настоящим руководителем, когда убедились в остро развитом в нем чувстве справедливости и верности слову.

Потийцы прониклись к нему уважением только после того, как увидели в нем не «пришельца», а истинного потийца, живущего интересами их города. И тогда сплотились вокруг него энергичные, волевые люди, единомышленники, заинтересованные в процветании города, его благополучии.

А поначалу воспринимали как «новую метлу» — посмотрим, что будет дальше?

Давно уже наблюдаю я за этим молодым партийным работником. Порой он похож на «фанатиков» двадцатых годов. Последний и самый длительный наш разговор состоялся перед моим отъездом из Поти; он и теперь был эмоционален, но это был уже совсем другой Гулуа, уравновешенный, предусмотрительный, уверенный в своей правоте человек, который руководствуется в своей деятельности лишь тем, что испытано, испробовано и взвешено им самим.

Только такого склада человек и смог настоять на своем и убедить столь высокие и суровые инстанции, как Министерство финансов и Госплан.

Возможно, мне возразят: должность обязывает... Безусловно. Но думаю, этот молодой человек, даже не занимая он свою должность, все равно личность яркая, сильная и интересная.

— Нашим экспериментом заинтересовались в десятках городов, а также люди различных профессий по всей стране. Чем больше проходит времени, тем чаще приходится нам детально делиться с ними нашим экономическим опытом. Так что, поскольку я имею дело с писателем, да еще разобравшимся в сути и задачах нашего эксперимента, попытаюсь на этот раз сделать акцент в основном на нравственной стороне нашего поиска... — так начал наш разговор Гулуа и продолжил:

— Призыв идеологически обеспечить достижение наиболее значимых результатов в производственной деятельности коллективов и их социально-культурном развитии предполагает

ежедневную, дифференцированную индивидуальную работу людьми, постоянную заботу об их нуждах и потребностях, поиски оптимальных путей сочетания личной и общественной заинтересованности в высокой производительности труда.

Порядок и дисциплина! Эти два слова, что у всех на устах в нынешней пятилетке, являются точнейшим выражением интересов и нравственного императива миллионов советских людей, следовательно и потийских трудящихся.

Поти — не только город рабочих, но и город-труженик... Я имею в виду, если так можно выразиться, характер города. В отличие от других городов, здесь вы редко встретите помпезный, богатый дом и двор. Потийцы еще со времен Нико Николадзе хорошо знали и знают цену умеренности и руководствуются принципом «...чем лучше мы будем трудиться, тем лучше будем жить!».

— Выходит, город был психологически подготовлен к эксперименту. Потому он так быстро освоился с новыми задачами, — уточняю я.

— Действительно, — соглашается со мной секретарь, — почва для этого была подготовлена. Это хорошо знали в Центральном Комитете Компартии Грузии, и в особенности Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, потому, наверное, и доверили нам первым почетную миссию переделки устаревшего аппарата управления.

— Каким оружием, с какой гарантией? — снова поинтересовался я.

— Опираясь только на людей, с верой в самое надежное оружие — кадры!.. Поскольку мы определили цель, то нашли и реальный путь к ее осуществлению — оптимальный и перспективный. Однако одного знания цели и пути к ее достижению мало. Нужны крайне заинтересованные в деле и нравственно совершенные кадры. Вот вы, — продолжает Гулуа, — уже долгое время находитесь здесь и, знаю, часто посещаете заседания территориально-межведомственного объединения. Знаю, что вы лично знакомы почти со всеми работниками объединения. На одном из заседаний вы совершенно справедливо назвали их пионерами и основоположниками эксперимента. Чем мы руководствовались, когда возлагали на них столь большую ответственность? Откуда они пришли? В основном из комсомола. В каждодневном труде, в активной общественной работе закалялись комсомольские кадры нашего города, которые были проверены в деле и теперь возглавляют очень ответственные участки работы: на партийную, советскую,

хозяйственную работу выдвинулись И. Моцерелиа, Г. Долбая, П. Берая, Дж. Шургая, Н. Челидзе, З. Долбая, Р. Аронишидзе, Т. Бокучава, Н. Хунцариа, К. Каландаришвили, И. Качарава, Б. Какулиа, В. Хорава, Б. Двалишвили и др. С большой в душе должен вспомнить безвременно ушедшего от нас члена бюро городского комитета партии, председателя городского комитета народного контроля Демура Берая, который в течение ряда лет возглавлял комсомол нашего города. Наша молодежь, — подчеркивает секретарь, — правильно поняла и восприняла проводимый в городе эксперимент и вытекающие из него задачи. Иного мы и не ожидали. Потому мы и укомплектовали объединение такими работниками, которые отличались своими способностями, талантом и особой принципиальностью.

...Мне и вправду довелось сблизиться с молодыми потийскими экспериментаторами. Общаясь с ними, надо быть собранным и вооруженным, поскольку их компетентность и острая мысль могут сразить наповал. Все осмыслено не только с позиций сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

В разговоре они апеллируют только к фактам. Факт и только факт является для них основным критерием истины. На одном из заседаний объединения Алеша Мясников категорически потребовал урезать слишком разыгравшийся аппетит некоторых предприятий. Речь шла об их материально-техническом снабжении. Привел он и факты. Тогдашний главный инженер объединения Ким Чиковани не то чтобы счел выступление Мясникова безосновательным, но подобную санкцию посчитал пока преждевременной.

— Но ведь факты налицо! — вскипел Алеша. — Что мне, закрыть глаза, отрицать их?! Идти на компромисс? С какой совестью я должен прекратить борьбу?!

И собравшиеся единодушно поддержали Мясникова.

Именно они — эти молодые экспериментаторы стучатся в врата двадцать первого века, наверное, более рационального, более требовательного, нежели наш двадцатый.

— Из материалов июньского 1983 года Пленума, — продолжает секретарь, — я бы особо выделил то место, где говорится о необходимости активного формирования экономического мышления нового типа. Как это понимать? На мой взгляд, кадры нового типа должны наряду со знаниями, компетентностью и, конечно же, честностью, несомненно обладать и деловой предприимчивостью. Вот, например, по объе-

му выпуска кожаной обуви мы, оказывается, первые в мире. Однако качество ее все еще остается низким... Вы, может быть, заметили, что не находят сбыта ковры, как отечественные, так и импортные. Нельзя сказать, что из-за отсутствия качества, просто дорого стоят. Парадоксально звучит, но экономисты утверждают, что подобные несоответствия и порождают дефицит, в результате чего мы сталкиваемся с крайне сложными экономическими проблемами: продукция, которая должна была дать пользу и прибыль, приносит убытки!.. А это первое свидетельство того, что соответствующему руководству не хватает деловой предприимчивости; сказывается беспомощность, игнорирование в своей работе таких основополагающих моментов, как производство продукции и ее реализация. Экономика любит реальные цифры и вещественные доказательства.

Я тотчас соглашаюсь с секретарем и тоже привожу известный мне пример.

— Взять хотя бы ваш завод чайных концентратов; продукция этого завода в основном изготавливается из отходов чая. Отлично, но как по-вашему, куда мы должны девать чай, что не находит сбыта и тоннами валяется на складах?

— К сожалению, подобные факты пока еще нередки почти во всех областях народного хозяйства, и нам это давно известно. Именно в целях ликвидации подобных и других диспропорций и несоответствий мы в условиях эксперимента установили прочные постоянные контакты с союзными и республиканскими министерствами, а также с государственными комитетами. Все это вынудит нас заранее предвидеть ожидаемый результат и планировать нашу работу, сочетая выгоду производства с запросами потребителя.

Основным рычагом эксперимента в отношениях между партнерами я считаю честность. С нее начинаются правильная организация труда, творческое отношение к нему.

Именно поэтому партия обратила наше внимание на необходимость формирования нового типа экономического мышления.

Дальше наш диалог протекал следующим образом:

— Какие ощутимые позитивные сдвиги стали заметны в городе с начала эксперимента?

— Сказать, что в результате эксперимента в Потти на-

веден безупречный порядок, было бы бахвальством; не решены еще вопросы производственной и технологической дисциплины, в некоторых организациях и предприятиях не пока еще наладить такую разумную организацию труда, которая не позволяла бы бить баклуши в рабочее время. Однако и те изменения, что произошли за столь короткий срок, имеют для нас большое значение. Но если говорить откровенно, пока еще рановато безоговорочно считать наш эксперимент единственной и всеобщей нормой, завтрашним днем народного хозяйства. Время должно проявить все достоинства и недостатки нашего начинания.

Я пожелал успеха Бакуру Гулуа и взял курс на башню Николадзе. Остановил машину рядом с кофейней, в которой я уже успел стать завсегдатаем, отыскал термос, вышел и сел за столик.

Хозяйка кофейни, милая и живая средних лет женщина, когда не одолевают посетители, всегда готова к разговору на любую тему. Она в курсе всех городских новостей и сплетен, может дать по каждому поводу исчерпывающую информацию и исчерпывающую характеристику каждому потийцу.

Увидев меня, Этери тотчас принесла мне чашку кофе. Я протянул ей термос.

— Наполнить?

Я кивнул головой.

Через минуту вернулась с полным термосом.

— В Тбилиси, наверно, собрался... В дальней дороге кофе — первейшее дело, — завелась Этери.

Я не был расположен судачить с ней, но вдруг против своей воли у меня вырвалось:

— А что говорят в городе о Бакуре Гулуа?

Тут же пожалел, но было поздно.

— Ух, очень хороший — умный, внимательный, воспитанный, — спокойно, настроившись на долгий разговор, начала докладывать бойкая на язык хозяйка. — Вот только...

Я наострил уши.

— Вы же знаете — из этой кофейни весь Поты, как на ладони... Все видать... Ночи напролет горит свет в его кабинете!.. Так ведь тоже нельзя... Слишком, уж он много работает!..

Я попрощался с доброй и простодушной Этери, заглянул в редакцию «Ахали Колхети», чтобы повидаться перед отъездом с моим другом Карло Комахидзе и другими работниками. А потом направился к порту. Остановился у памят-

ника Нико Николадзе, долго смотрел издали на огромные корабли и суетившихся вокруг них докеров и рыбаков, в голубую, спокойную бухту.

Видно, надежный народ эти потийцы. Но только ли любовь к своему городу, к своему дому движет ими? А что же еще? Расчетливость?.. Жажда наживы? Не похожи они на таких людей... Их усилия скорее напоминают вдохновенный творческий поиск поэтов. Да нет, сам сколько раз убеждался в том, как разумно и трезво прокладывают они себе путь в лабиринте экономических таинств и трудностей. Надолго ли хватит их энтузиазма? И тут же понял—сам факт такого сомнения зачеркивает все, что мною о них написано.

И дело не только в энтузиазме. Видимо, девизом, направляющим их деятельность, служит идея: не взваливай на других то, что можешь сделать сам. Пусть каждый честно и добросовестно выполняет свою работу, пусть творит, пусть проявляет инициативу. Вот если все будут поступать так..

Сегодня нам как воздух необходимы такие люди — и молодые, и представители старшего поколения, которые в состоянии смело шагать непроторенными путями.

* * *

Если хорошенько взвесить слова и проанализировать дела потийских энтузиастов, то невозможно усомниться в их справедливости, не поверить в реальность лучшего будущего, в успешное осуществление потийского эксперимента.

1982—1983 гг.



Зарема КАЗБЕКОВА

МИР РОМАНА ИЛИ РОМАННЫЙ МИР?

●

О НЕКОТОРЫХ
ЧЕРТАХ ПРОЗЫ
ОТАРА ЧИЛАДЗЕ

РОМАНЫ О. ЧИЛАДЗЕ, ставшие в некоем роде явлением исключительного порядка в нашей литературе, вывели искания советской прозы на новый виток спирали. Развивая и обогащая национальную художественную традицию, они в то же время концентрированно и многообразно представляют новые качества и тенденции мировой литературы, — как это всегда бывает с истинно национальными и общезначимыми художественными явлениями.

Развитие национальной традиции — процесс порой сложный и опосредованный. Анализ творчества О. Чиладзе приводит к проблеме индивидуального авторского сознания, организующего художественное целое, посредством субъективности способное воссоздать народное бытие в его существенно национальной, субстанциональной первооснове.

Романы О. Чиладзе с наглядностью показывают соотношение между «субъективизацией» интеллектуальной романистики и ее «эпизацией». Сама по себе проблема эта противоречива — и в теории, и в художественной практике. В теории, базирующейся на традиционном художественном

опыте, «субъективность», «полусубъективность» интеллектуального романа, основанного на примате индивидуального сознания, не в состоянии как будто преодолеть эгоцентризм, индивидуализм и субъективизм, прорваться к эпическому целому. Практика европейских литератур, на которой основана эта теория, казалось бы, подтверждала этот тезис. Но, как в самих европейских литературах (Т. Манн), так особенно в латиноамериканских и в наших национальных литературах этот теоретический тезис «не срабатывает». Современный художественный опыт утверждает, что субъективно-индивидуальное романное сознание в состоянии творить эпическое, бытийное, гуманистическое, общественно-разумное целое. То обстоятельство, что «порыв» к цели происходит и через раскрытие «дна» и «подполья» человеческой психики, через обнажение пределов «зла», могущих быть заключенными и обнаруженными в человеке, лишь обостряет саму проблематику, общую для всех.

В этом смысле интеллектуальная проза О. Чиладзе вслед за Отаром Чхеидзе дополняет и обогащает современный грузинский роман, который при всех своих «технических» новациях остается в пределах национально-традиционного художественного сознания.

Интеллектуально-субъективный роман обычно связывают с целой серией чисто технических новшеств и приемов. Внешне это действительно выглядит так. Но при этом мы должны ясно осознавать, что сам по себе литературный прием, как бы он ни был «своеобычен» с точки зрения традиционной поэтики, не имеет определяющего значения при оценке романного целого. В решении последнего вопроса гораздо большее значение приобретает проблема романного целого и национально-художественного мышления.

В самом деле, Н. Думбадзе смело вводит в свои произведения «фантастические» элементы, мифологические архетипы, не говоря уже о «потоке сознания», совмещении «временных пластов» и т. д. И тем не менее они остаются в пределах социальной романистики, наисовременной общественной проблематики и содержательности, в пределах, наконец, национальной художественной традиции, особенно в обрисовке характеров.

Роман Ч. Амирэджиби «Дата Туташиа» на первый взгляд структурно строится как мифологический роман — тому свидетельство развернутые эпиграфы, взятые из «национальной мифологии» (пусть и сотворенные самим автором), притче-

вый характер первых глав, наконец, ориентация на литературно-мифологические образы в обрисовке главного героя (Дон Кихот, Гамлет, Христос и т. д.). Однако в целом произведение Ч. Амиреджиби представляет собой с точки зрения романной структуры развитие прежде всего национальной художественной традиции, эпической традиции. Это касается и социального типа главного героя (благородный разбойник, могущий быть и в роли безвинного страдальца, и в роли борца за справедливость), и самого типа повествования. Речевое и полиперсонажное романное повествование не есть открытие только современной прозы. Принцип «речевого потока», принцип «рассказывания» персонажами романного целого был открыт еще в добуржуазных формах художественного мышления. Некоторые исследователи доводят его не только до «Тысячи и одной ночи» и «Декамерона», но и до «Библии», до «Житий».

В современном романе речевая структура организована присутствующим в произведении автором, что делает современное эпическое повествование принципиально иным, чем оно могло позволить себе быть ранее. Именно присутствие автора в произведении создает разнообразие романских форм — эпических, как у Ч. Амиреджиби, субъективных, как у О. Чхеидзе и О. Чиладзе. По этой линии и идет соотнесение названных художников с мировым художественным опытом.

Но надо также помнить, что такая древняя культура, как грузинская, развивавшаяся на путях трагической истории, не может не обладать, видимо, «полузабытыми традициями, которые в определенных условиях бурно «взрастают» — как нечто совершенно небывалое, что всегда вводит в искушение — видеть причины этого в использовании инонационального художественного опыта. Последний, возможно, активизирует процесс «воскрешения» национальной традиции. Но она существовала всегда, именно поэтому грузинские писатели в последние годы так часто ссылаются на опыт средневековой прозы, казалось, целиком отданной церкви и науке, как бы «заслоненной» великими поэтическими именами.

Прав В. Огнев: «Грузинскому литератору, имеющему за плечами века и века письменной культуры, есть из каких источников черпать формы и идеи универсального значения»¹.

Совершенно очевидно, что и с точки зрения традиций про-

¹ В. Огнев. Сага о лжемакабели. — «Лит. обоз.», 1983, № 1, с. 33.

заического искусства, и с точки зрения традиций поэтического искусства современная грузинская романистика имеет достаточные основания для возникновения не только новых и «загадочных» феноменов. Если учесть, что современный период развития советской культуры связан со всеобщим интересом и познанием художественных богатств, накопленных человечеством в целом, то появление таких неординарных произведений, как романы Отара Чиладзе, уже не может считаться «непонятным», «преждевременным» или «случайным» фактом литературного процесса. И все-таки нужно признать, что в столь «чистом виде» интеллектуально-субъективный роман существует пока что только в творчестве О. Чиладзе и О. Чхендзе.

Романы О. Чиладзе нашли довольно широкий критический отклик. Во всех рецензиях и статьях (речь пойдет о романе «Шел по дороге человек») выдвигались на первый план два вопроса: проблема мифа и «нравственной обеспеченности». Именно последнее вызывало у многих рецензентов буквально ожесточенные выпады и претензии, связанные, видимо, с неправильно истолкованным уровнем взаимосвязи мифологического и романного начал повествования. Мифологическая трансформация в романах О. Чиладзе предстает как интеллектуализация мифологического сюжета на уровне нравственной и исторической интерпретации. Феномен далекого прошлого предстает как факт современного сознания, точнее, в свете проблем современного сознания.

Мифологическое в романах О. Чиладзе представлено на двух уровнях: прямое воспроизведение мифологического сюжета и индивидуальное мифологизирование. Мало сказать, что мифологическое в его рационально-символическом звучании пронизывает художественную ткань романов — на этом строится их идейно-философская, интеллектуальная и психологическая направленность. Причем острота проблем такого порядка подчиняет себе саму художественную фактуру романа.

Расхождение во мнениях критики досадно, поскольку ни о каком однозначном соотношении речи быть не может: ни о мифологизации романа, ни о романизации мифа — как отдельных, не взаимосвязанных моментов. Мифологическое многослойно проникает в роман: то захватывая полностью своей стихией, то отступая перед чисто романскими философско-психологическими проблемами. В произведении О. Чиладзе мы сталкиваемся с воспроизведением мифа как таковым (первая часть — «Аэт») в своих классических канонах, где он вполне субстанционален, самодостаточен и самозначим, а порой обнажен-

но условен. Миф в романе трансформируется на уровне сюжета путем целенаправленной переакцентировки. Чиладзе сознательно опускает трагическую и полную героических подвиг предысторию Ясона, намеренно профанируя этот образ. Надо сказать, автор не всегда последователен в превращении героя из «субстанции», каковым он является в мифологической сфере, в «функцию», существующую уже в сфере романной.

С одной стороны, Ясон — бронзовотелый красавец, наследник царского престола, чье «достоинство и честь повержены в прах коварством и несправедливостью»; он смел, решителен, отважен. И тут же автор говорит о нем: «от одной мысли о смерти он терял всякое соображение», «он лез из кожи вон, протискивался сквозь игольное ушко, чтобы иметь на земле все, что имели или могли иметь другие». Перед нами чуть ли не насильственное принижение образа. «Героя из Ясона не вышло», потому что он привез-таки золотое руно, потому что он не погиб, потому что он выжил — вот на чем строит «обратную логику» образа автор.

Образ Аэта также трансформируется по принципу «обратной логики». Ангелоподобный, рефлектирующий, непротивленец злу, он весьма далек от грозного мифологического царя колхов. Этот образ также сохраняет в себе субстанционально-функциональные противоречия. «Свирепый царь Аэт», «лев, чья яростная мощь и чья беспощадность стали притчей во всем мире», в романной «функции» человеколюбив, добр, всепрощающ. Не гнев, не мщение, а сострадание — главное чувство его к Медее, поистине божественный глас, страдающий грешнику: «Что с тобою станется без меня, несчастное дитя мое...». Аэт совершает целый ряд «ошибок», которые по существу есть благородство: спасает Фрикса, прощает внуков, принимает Ясона, хотя внутренний голос пророчит ему беду. И беда приходит. «Но душа Аэта противилась признанию ошибки, не позволяла назвать ошибкой то, что он считал долгом человека, увидеть зло в том, что он воспринимал как добро», — это последнее слово Аэта о себе самом. Неотвратимое единство добра и зла, философская нерасчленимость этого корневого жизненного ядра («добро и зло всегда ходят об руку, одно приводит с собой другое») поставлены в романе как проблема национальной нравственности. Аэт и все колхи приняли и обласкали Фрикса; сыновья Фрикса, внуки Аэта, привели Ясона. И вот критские корабли черной волной затопили город — зло свершилось, и виновато в этом добро! Извечное дружелюбие, благородство, неспособность к ковар-

ству — параметры национальной духовной субстанции (в свете многострадальной истории Грузии!) — предстали здесь на фоне мифологического факта как своеобразный «комплекс национальной вины», вернее, «комплекс антивины». Именно в этой многомерности — духовная мощь романа О. Чиладзе, его завораживающая новизна, но и устойчивая прикрепленность к национальной традиции, которая в данном случае приобретает общечеловеческий характер и смысл. Г. Асатиани в своей статье «Дыхание эпоса» предлагает такую трактовку этого вопроса: «Гуманность, проявленная по отношению к врагу, неприемлема, она чревата антигуманными результатами — вот о чем говорит вся логика произведения». С точки зрения логики так оно и есть, однако с точки зрения художественного целого этот итоговый «антигуманизм» предстает как воплощенный бесконечный национальный идеал, получающий реальность в реальности художественного мира, — «мне дороги люди, желающие невозможного» (Гете).

История Фрикса исполнена драматической силы. Фрикса свалил недуг, он умирает от тоски по родине, и, казалось, уже ничто не может поднять его со смертного одра. Но вдруг он на время воскресает для жизни: неоплаченный долг, благодарность людям, приютившим его, отодвигают от него смерть. Три месяца роет он вместе с сыновьями ров, по которому от голубых гор приводит в город воду. «Голый по поясу, облепленный глиной Фрикс с чашей в руке подзывал людей: «Идите сюда, отведайте моей воды!» Фрикс был счастлив. Это апофеоз «человеческому, слишком человеческому», это нравственно-идеальная ситуация, когда «добро порождает добро». Гегелевский этический тезис — «совесть есть моральная гениальность» — нашел здесь художественное подтверждение. Фрикс, умирающий от тоски по Греции, поступает в данном случае как человек, воспитанный Грузией.

И наконец Медея — самый сложный образ первой части романа. Он вызвал полярные разночтения: с одной стороны, автору предъявлялись претензии за его «снисходительность» к злодейке, с другой, подчеркивалась поэтизация образа: «Медея — наивный дух»; «она предала по наивности».

Как и другие образы произведения О. Чиладзе, Медея принадлежит двум сферам: мифологической и романной. Автор волнует не сами факты драматического сюжета, а предыстория, генетический и психологический код личности, челове-

ская потенция, которая делает возможным тот или иной поступок.

Медея напоминает море, появление ее связывается со слышимым шумом прибоя — этим подчеркивается ее соприродность стихии, естественному началу. Вся скопившаяся в ней, жрице божества, «рабыне Луны», долго подавляемая безрассудная энергия находит выход в любви к Ясону. Автор показывает, сколь мучительна ее борьба с собою, она жаждет смерти: ее гнетет предстоящее, слишком многого от нее потребовала любовь. Ее мифические злодеяния, разложенные в причинном ряду, разрушают самооценку нравственной сферы, последняя «снимается» господством причинной сферы. «По мере того, как чувство причинности возрастает, область, подлежащая нравственному суду, все уменьшается»¹. У последней черты образ переводится из логически мотивированного, романного ряда в мифологический ряд, он «возвращается» в мифологическую сферу. «Сестра заманила Афрасиона, люди, родная сестра. А чужестранец вонзил ему в ребра клинок!» — это последняя реплика трагедии. Здесь Медея целиком принадлежит мифологической сфере, сфере рока и в этом смысле изъята из нравственной альтернативы. Писатель намеренно оставляет мифологическое сцепление рока самооценным, не переводя его в детерминированно-психологическую сферу, т. е. миф здесь вполне субстанционален.

Трудно не обратить внимание на родственность «художественных миров» О. Чиладзе и Достоевского. Видимо, здесь имеет место преемственность, связанная с акцентированием индивидуального сознания как формообразующего романного фактора. «Индивидуальное мифологизирование», хотя и стремится к эпической целостности и, как правило, достигает ее, несет в себе известное художественное противоречие, поскольку не всегда и не во всякой среде может и хочет совладать с проблемой Истории как процесса (последнее может предстать как время, цикличное внутри себя) и с проблемой социальной детерминированности человеческого существования»², — пишет Л. Арутюнов. «Феномен цикличности» — форма художественного видения О. Чиладзе, обнимающая и идею времени по всем ее параметрам, и динамику сюжета, и саму поэтику.

¹ Ф. Ницше. «Утренняя заря. Размышления о нравственных понятиях», М., 1912, с. 20.

² Сб.: «Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма», М., «Наука», 1981, с. 209.

С этим феноменом связано противоречие между открытостью временного потока в эпическом повествовании и замкнутостью временной схемы. Замкнутая временная схема делируется как цикличная внутри, и в силу этого она разомкнута вовне, открыта: время, цикличное внутри себя, циклы, извечные внутри времени, микроцикл как аналог макроцикла.

Город Вани — некий древнегрузинский полис. И роман О. Чиладзе — о его славе и падении. «Это история о том, как прославленный, всему миру известный город превратился в затерянное глухое место». Так случилось, и никакая сила не может противостоять тому, что замыслила природа и рок, — это неотвратимо. Интерес для автора представляет кривая упадка, взятая в высшей ее точке — точке расцвета. На фоне всеобщего разрушения и вырождения в осязаемых традициях «генной инженерии» даны конкретные «кривые» вырождения: Ухеиро — Фарнаоз — маленький Ухеиро; Аэт — Афрасион; Попина — Куса — его мертворожденные дети и т. д. Это определяет художественную атмосферу романа, довольно мрачную и безысходную, лишенную эффекта катарсиса, атмосферу до известной степени трагически-гротескную, хотя в финале и ориентированную на христианский миф.

Эта форма художественного видения и восприятия действительности близка «идее вечного круговорота» Достоевского. Т. Манн находит эту идею более всего выраженной в «Братьях Карамазовых», в разговоре Ивана с чертом: «Да ведь ты думаешь все про нашу теперешнюю землю! Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...»

Полемика Достоевского с теорией среды и детерминированности, его неаппетит к истории как таковой, отсутствие в «художественном мышлении генетических и каузальных категорий»¹ имеет следствием то, что временной ряд у Достоевского статичен и одномоментен, при том, разумеется, что его романы в высшей степени социально конкретные. Динамика личности обозначена вне динамики времени — хотя момент обусловленности априорно, внутренне здесь присутствует.

¹ М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., «Сов. Россия», 1979, с. 35.

В художественных мирах Достоевского и О. Чиладзе мы имеем изображение человека на пороге «непреодолимого порога его души», в момент кризиса, т. е. художественный эксперимент на выявление «человека в человеке» ставится в пограничной ситуации. Связанный с этим психологизм высокого накала, некий «художественный клиницизм» определяет сходную форму романного и образного построения. Но если у Достоевского это «скорее психологическая лирика в самом широком смысле этого слова, исповедь и леденящее кровь признание, беспощадное раскрытие глубин собственной совести», что и составляет, по Т. Манну, «источник огромной нравственной убедительности, страшной религиозной мощи его (Ф. Достоевского) науки о душе»¹, то у О. Чиладзе — это психологический эксперимент, его «наука о душе» скорее рационального и безысходно-трагического толка. Трагизм статичности О. Чиладзе равнозначен динамике трагизма Достоевского, но эти силы все-таки разнонаправлены.

Писателей интересует не столько мораль, нравственность как таковая, сколько психология морали, психология нравственности. Близость Достоевскому сказывается в «цитированиях» ситуаций, психологических ходов, мотивов, образов. Решение Фарнаоза убить Кусу — «право убить» — как вариант логики Раскольниковова. Куса — прямой аналог Смердякова — юродствующий во злобе «незаконнорожденный сын»... В романе «И всякий, кто встретится со мной...» майор Кайхоро сродни Карамазову-отцу; в убийстве Георги — библейский мотив «заклания агнца», принесение в жертву невинного. Тема, очень волновавшая Достоевского и имеющая множество художественных вариантов в западной литературе.

Литературные реминисценции, мифологические ходы, библейские мотивы — один из источников интеллектуальной наполненности романов О. Чиладзе, «вторичность» элементов художественного мира — конструктивная их особенность. И с этим связан художественный результат, где налицо не столько «интуитивное вчувствование», сколько «рационалистическое экспериментаторство» и где-то «ученая игра»².

И в этом плане О. Чиладзе позволительно отнести к западной художественно-интеллектуальной традиции, связанной в первую очередь с творчеством М. Пруста, Т. Манна, Г. Гессе и других.

¹ Т. Манн, Собр. соч., т. 10, с. 330.

² Е. М. Мелетинский. Поэтика мифа. М., «Наука», 1976, с. 320.

ния реальных жизненных и духовных проблем, человеческих характеров, нравственного поиска и смысла.

Разомкнутость «конструкций», подключение их к эмпирическому материалу, к токам «живой жизни» делают этот роман О. Чиладзе еще более полнокровным и значительным, чем первый.

...Все началось с того, что в кахетинскую деревню Уруки явился майор Кайхосро — как наследник поместья местного феодала. История Кайхосро и история его рода, обнимающая столетия, составляет сюжетно-материальную основу романа, в этом смысле близкую основе романа Маркеса «Сто лет одиночества».

Кайхосро вернулся, но куда? На родину, в Грузию? Он действительно родился в Грузии, но, потеряв родителей при погроме, ушел совсем маленьким мальчиком за русским войском, там же он в конце концов и стал офицером. Его благодетель при смерти «отдал» ему свою фамильную легенду, и он вернулся на родину уже Макабели. Но и в России, когда он был офицером, он «не знал», кто он. И в Грузии, в Уруки, он не был Макабели. И рода он не создал. Нечто патологическое довлеет над его семейством. И — как у Маркеса — идея вырождения должна была бы торжествовать. Этого не происходит; энергия и завет извне спасают последний росток рода и дают надежду на будущее спасение.

Мы не будем касаться всех перипетий, всех родовых ответвлений семейства Кайхосро. По отношению к столь «густо замешанным» произведениям, как романы О. Чиладзе, это просто физически невозможно. Мы выделим лишь те образы и коллизии, которые так или иначе связаны с мифологической традицией.

Нас интересует прежде всего проблема многослойности интеллектуально-субъективистского повествования и его способность выразить эпическое содержание жизни и духовного мира.

Анна и сын ее Георга в художественном осуществлении личности — натуры родственные, нравственно-психологически тождественные. С одной стороны, это «дети природы» с их естественностью и мудрой наивностью, с их цельностью и непостижимостью... Однако трагизм этих образов, решенный в ключе христианской этики, выходит за рамки первоначальной заданности. Их непротивление злу — это не просто покорность.

Это сознательная пассивность, пассивность от сознания безысходности. В этом трагический смысл образов Анны и Ге-

орги. Это страстотерпцы, не преступившие ни одной христианской заповеди, однако и не ставшие «любить врагов своих, благословлять проклинаящих, благотворить ненавидящих и молиться за обижающих и гонящих их». Это аглицы бескомпромиссные, не приемлющие нечто и навеки. Они дали извести себя, но внутренне не сдались, не возблагодарили ни судьбу, ни спасителя за «блага», которые им жизнь ниспослала. Они лично глубоко позитивны. В авторском замысле их покорность неоднозначна; так же как и существо их неординарно. Образы эти восходят к жанру мученичеств, столь широко наряду с житийным представленному в древнегрузинской агиографии. Отсюда берут начало многочисленные христианские коллизии романа, психологическое и нравственное их мотивирование. Сцены страдания, чудеса, видения, предчувствие собственной кончины и т. д. — все это решается как бы по канонам древнего жанра. Существенно, однако, романное воплощение мученических коллизий, которое, будучи подключено к традиции, идет к существенно новому и усложненному художественному результату. Интересным представляется сравнение Анны и Шушаник. Претерпевшие зло от мужей, отлученные от детей, они отрекаются от жизни, преждевременно уйдя от нее в обитель муки, скорби и одиночества. Однако у Анны мученичество вынужденное, у Шушаник — избранное волей, — у Анны — слабость, покорность, безволие, у Шушаник — сила, протест, воля. Шушаник уходит в обитель Христа, Анна — в хлев, обитель сына. Шушаник, почитаемая и обожествляемая, «собственными страданиями свидетельствует о страстях спасителя», ее путь — «манифестация христианского самопознания»¹, и недаром она говорит: «Вместо скорбей Христос да даст мне радость, вместо мучений — покой, за страдания, муки и поношения я обрету на небе бесконечную славу», — элемент нравственного расчета как бы снижает этот христианский подвиг. У Анны нет и не может быть расчета, однако ее конечная покорность есть протест не меньший по силе отречения.

Мотив одиночества мучеников также находит свое неоднозначное воплощение. Если у Шушаник он культивируется несколько искусственно и традиционно, то Анна одинока воистину и беспредельно.

На свойственной автору доминанте причинности строится схема образа Георги. Жизнь, состоявшаяся для страха и боли.

¹ М. И. Гигинейшвили. К вопросу о жанровой квалификации «Мученичества Шушаник». Тбилиси, «Мецниереба», 1978, с. 4.

«Живое ощущение мертвого отца» — это единственное, что давало ему силы выдержать испытания детства. И еще «бес-силые живые матери». Ненависть к майору Кайхосро, которую он почувствовал «совершенно спокойно», была «ненавистью без яда и злобы». Его внутреннее ощущение майора было безошибочным уже после той роковой ночи, когда майор ранил борчалинца. «Ненависть без яда и злобы», ненависть, не уда-стаивающая ни словом, ни борьбой, восходит в глубине своей, в сущности, к приятию всего существующего как данности. В характере Георги это восприятие-пассивность реализова-но как глубокое отрицание, отрицание зла просто существую-щим рядом добром.

В смирении христианского типа, которому, казалось бы, созвучна ситуация Георги, «ибо все униженные возвышены будут», есть элемент нравственного расчета: настоящее смирение взамен грядущих благ. Это и не «унижение паче гор-дости» — здесь нет ни унижения, ни гордости. Уход в ослиный хлев и вся жизнь Георги там — феномен естественной чело-веческой реакции на соответствующую жизненную ситуацию — при всей, казалось бы, внешней ее парадоксальности. Уход Геор-ги в ослиный хлев — это и покорность и протест одновремен-но. И то и другое нерасчленимо присутствует как причина в этом действии, они слиты и взаимно обозначены.

Итак, Георга — изгой и раб, но это не единственный план его художественного осуществления. Волей авторской рефлекс-ии он дополняется вторым сложным философским планом.

Пассивность характера Георги выдвигается как проблема в анализе этого образа. Проблема «пассивного характера» в ее художественно-психологическом аспекте сложна и неодно-значна в современной литературе.

Глубоко скрытый скепсис бездействия Георги порожден и трагическими обстоятельствами его жизни, и роковой означен-ностью его судьбы, рефрен — «Убей или дай убить себя» — это глубинный план образа Георги, «раба», «обитателя ослин-ного хлева»; одновременно это и присутствие автора в созда-нии нравственно-психологической проблемы.

Скепсис эпического мировосприятия зиждется на том, что «так было, есть и будет». Был, есть и будет злодей, Майор, обнявший мать, надругавшийся над детской святыней — над черкеской отца, висевшей на гвозде, которой он стал чистить свои сапоги. Но тем не опорочит он ни святыни, ни чтившего, а лишь еще более себя... Этот скепсис делает ненужным дей-

стве, подтверждает роковую означенность судьбы и как бы лишает непосредственного контакта с реальностью собственной жизни. Отстраненность, как бы «изъятость» из действительного течения своей жизни, как следствие дистанционного, стороннего восприятия ее, — еще одна грань эпического самочувствования в мире, явленная в романе О. Чиладзе.

В непосредственно романной стихии, в органичном ее ключе проявляется живое существо Георги. В сфере отношений матери и сына образ целиком возвращается «живой жизни», непосредственной свободе чувств. Анна, трагически подвластная обстоятельствам, полностью покорная им, «оживает» лишь в отношениях с сыном. Сын — единственная реальность, с которой считается ее жизнь, ее существо, единственное средоточие ее мыслей. «Она продолжала эту ненавистную жизнь, чтобы не отнимать у Георги его единственного счастья, счастья существования матери». И Георга, приняв смерть как должное, говорит доктору: «Я немногого хочу... Ради мамы... для мамы». Оправдание их жизни — в любви друг к другу.

И вот Георга делает попытку реально существовать в другой жизни, помимо любви к матери. Он уходит за шедшим мимо караваном. Его тайный уход был изменой матери, но он надеялся, что так, может быть, будет и лучше. Уйти заставил его петух. «Да, взъерошенный и яркоглазый, как солнце, огненно-цвета петух на облучке арбы. Он кричал так, что в камне кровь закипела бы, и Георга пошел за ним, подумав вдруг, что мир велик». Петух — символ, знак, возмутитель мира, осуществленный зов. Движение этого знака представляется характерным. Поначалу вполне определенно заданный — яркий, мажорный, фанфарный, он оказывается подвластным сокрушительной динамике. Петух после «совращения» Георги стал кричать, не смолкая ни день, ни ночь. «Безумный петух на что-то указывал, был предвестником чего-то — не ночи и рассвета, возвещать о наступлении которых господь ему только и поручил, а чего-то другого, большего, более существенного! Может быть, начиналось второе пришествие? Страшный суд? Измученные петушиным криком люди обезглавили «непризнанного пророка», и земля покрылась алыми, похожими на листья клена пятнами петушиной крови... И тогда Георга решил вернуться назад, ему не терпелось остаться одному на дороге, по которой он шел с безумным петухом». Так этот знак переводится в гротескно-трагический ряд. Становится символом пророчества, безумия мира, символом пророческого мужества. И тот же петух станет впоследствии знаменем смерти: «разбуженный петух слё-

тел на его (Георги) вспоротый живот, больно вонзив в него сильные острые шпоры, он искоса поглядел на Георгу своим одеревеневшим глазом, сжался, взъерошился и кударенчул^{25.10.53.220} прямо ему в лицо. Георга был уже мертв».

У Чиладзе нет знака статичного, так же как и нет схемы закрытой — в этом существенная особенность его художественного мышления. Его знак многозначен, емок, он длится в реализации всей возможной своей потенции до предела, отрицающего первоначальную заданность. Петух — это крик, Георга — молчание, немота, здесь они как бы противопоставлены, но противопоставление оборачивается тождеством: крик петуха в бесилии своем равен немоте Георги.

Убийство Георги решено в сфере рока. Над ним тяготеет его судьба: «Убей или дай убить себя». С самого начала ясно, что он не убьет, значит, даст убить себя. Тема рока здесь явно обозначена. Если в греческой трагедии Судьба — это осуществленная воля богов, т. е. неволя человека, и реализуется она универсальной художественной функцией мифологического рока, то в литературе (Фолкнер, Фитцджеральд, Фриш) мифологема рока трансформируется в атмосферу рока, детерминированную социальным, психологическим, порою даже патологическим рядом. Романы О. Чиладзе создаются в атмосфере рока, она является, кроме прочего, конструктивным элементом романного целого. «Если тебе, боже, угодно, чтоб он пал от моей руки, сделай так, чтобы он проснулся и вышел!» — взывает борчалинец, пришедший ночью к хлеву Георги, чтобы убить его.

И вот предназначение исполнилось, и сцена убийства превращается в сцену любви — опять же по принципу органичного соединения противоположных начал в единство. «Он, чтобы не упасть, обнял незнакомца, сунул лицо в ворот его овечьего тулупа, и вдруг его голова закружилась от удивительно знакомого, с детства родного запаха, такого забытого и в то же время такого незабываемого, что его сердце вздрогнуло, и он сразу увидел отцовский дом, черную черкеску на стене, синий от яблоневого ствола двор и мать в огороде. Он почувствовал даже запах кориандра своих детских лет... «Ты нас не забыл до сих пор, басурман ты наш!» — ласково сказал Георга убийце, словно давно потерянной и случайно нашедшейся собаке. Тот хотел что-то ответить, но не смог, лишь громко глотнул слюну. У Георги кружилась голова..., и он все тесней прижимался к убийце. Жар потной, шеи борчалинца был ему приятен — сейчас Георга как бы даже любил этого человека, при-

несшего ему смерть, святого и угрюмого, как ангел смерти... Таким образом, ситуация развивается до отрицающего себя предела, до отрицания первоначальной заданности и отрицанием организующего, составляющего многозначную сущность явления. Развитие до отрицания, отрицания, однако, не снимающего внешне заданный характер явления, но лишь организующего сложное единство, составленное из противоположных, противоборствующих начал, характерно для всего романа в целом: касается ли это отдельного образа, или ситуации, или сюжетного хода.

Каждая ситуация в романе «переписывается» неоднократно, с разных точек зрения, под разным углом, изнутри и внешне, всякий раз показывая новую грань, наслаивая смысловые оттенки, усложняя явление. Такое построение связано с формой «многосубъективного» романа. На связь с такой формой указывает Г. Асатиани, проводя здесь параллель с романом Фолкнера «Шум и ярость».

Зло есть зло, оно подсудно и страшно, несмотря на все причины, его породившие, но согласиться с присутствием его в человеке и в мире, смириться с ним — не есть авторская позиция. Авторская позиция состоит в том, чтобы найти его причины, добраться до корней, дознаться, откуда оно в человеке и в мире, как бы порой ни были сложны и запутаны, недостижимы и бесконечны причины, его взрастившие. С этой мыслью автора, с этой высокогуманной его позицией связано присутствие в романе сложных причинных рядов. Каждое действие имеет столько побудительных мотивов и столько причин, чтобы свершиться, что, казалось бы, должно ускользнуть от оценки, затеряться в полимотивности авторской установки, которая связана именно с «многосубъектной» романной формой. На самом же деле в этой сложной «многосубъектной» романной стихии наличествует четкость нравственных критериев и оценки, исходящая из авторской позиции: зло — в вечной анафеме; добро — в вечном апофеозе.

Образ майора Кайхосро решен в пределах библейского мифа о Каине: библейская ситуация со всеми ее нравственными акцентами, где господь, Каин и «всякий, кто встретится» противопоставлены, вернее сопоставлены как некие определенные жизненные позиции, повторяется здесь достаточно последовательно и то ино.

Построенный по библейской схеме образ имеет отклонение от нее, которое сущности, однако, не меняет: если

Каин в мифе — убийца, проливший кровь брата своего, то Кайхосро никого не убивал. Он восклицает в разговоре с отцом Зосиме: «Не могу больше, отец мой, не могу больше». В жизни мухи не убил, а живу как убийца...» На что отец Зосиме отвечает: «Убил или хотел убить — это все одно!» Так библейская нравственная ситуация в романе усложняется вариантом психологически проблемным, где «каинство», хотя и не реализованное в действии, тем не менее остается им и наказуемо так же. «Не убил, но хотел убить» — эта нравственно-психологическая ситуация весьма характерна для Достоевского. В этом плане диалог Кайхосро с отцом Зосиме ассоциируется со сценой из «Братьев Карамазовых», где старец Зосима падает на колени перед Дмитрием, якобы прозрев в нем будущее страдание: «Я вчера великому будущему страданию его поклонился», — объясняет он Алеше. «Он (старец Зосима) именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и, кто более грешен, того он всех более и полюбит», потому-то в пророческом экстазе сопереживания Зосима бросается на колени перед потенциальным убийцей, перед мукой сердца, подвластного страшному искушению. Оттого Дмитрий и наказан каторгой, что мог бы быть на месте грешника, — «не убил, но хотел убить».

Перед нами фигуральное совпадение ситуации — старец и грешник, разница в том, что в «Братьях Карамазовых» перед нами грешник-жертва, а в романе О. Чиладзе — грешник-злодей, но решаются обе ситуации одним нравственным законом «Не убий».

Что касается старцев, то их несхожесть существеннее их схожести. Выбор типичного «старческого» имени для деревенского священника в какой-то степени не случаен, он подтверждает опять-таки склонность О. Чиладзе к характерно смоделированному человеческому типу и лишь в его пределах осуществляемой художественной свободе. Категория характера в традиционном его толковании не находит в романах О. Чиладзе своего полного выражения. Интерес писателя к интеллектуальной «заданности», естественно, противоречит традиционной индивидуализации характера.

Помпезная святость старца Зосимы весьма отлична от простодушия сельского священника отца Зосиме, ежедневно выпивающего кувшин вина и колесящего по деревенской грязи от дома к дому, хотя оба они люди божьи, и роль их в миру одинакова. Если старец Зосима являет собой совершенно христианский тип экстатического сострадания, то для отца Зосиме

ситуация бросающегося на колени перед грешником духовного отца представляется невозможной. Отец Зосиме с его мудрым скепсисом эпического всеприятия восходит к позиции библейского бога, в слове которого «эпическое» в предельно существенно своем выражении находит наиболее концентрированное свое воплощение.

Кайхосро, уже старый и ненавидимый всеми, мечется: «Не могу больше! По ночам сквозь стены просачиваются! Шипят, шепчут, идут... Вот в эту щель весь город врывается, весь этот проклятый город! Все меня убить хотят — и жена, и сын, и внук...» В экстазе внутренней пытки, в преддверии смерти Кайхосро обращается к Зосиме:

«— Заклинаю тебя богом и чертом, скажи: кто я?»

— Фиалка... — сказал отец Зосиме.

— Фиалка? — выкатил глаза от изумления Кайхосро.

— Да! — кивнул головой отец Зосиме. — Вырванная с корнем и сразу потерявшая запах, увядшая в руках фиалка...»

Эпическая ирония, посредством которой происходит «снятие» диссонирующего момента, работает опять-таки на эпическом всеприятии. «Эпическая ирония, — поясняет Т. Манн, — это скорее ирония сердца, ирония, исполненная любви; это величие, питающее нежность к малому»¹.

Эпическая мысль о сущности человеческой так же бесконечна, как сама жизнь. И в этой ситуации, казалось бы, непреодолимого напряжения происходит эпическое «снятие»; «снятие», которое всегда имеет место в полноте жизнепроявления, эпический катарсис, разрешающий трагедию, и дальше как бы в подтверждение эпической мысли идут слова: «А за окном сверкал многоцветный мир... Страсти Кайхосро и отца Зосиме никого не интересовали»...

Майор лишен диалога с собой, у него нет внутреннего голоса, вопрошающего, карающего, нет бога в себе, оттого закошел он во зле. И отец Зосиме как бы дополняет его, являясь его внутренним голосом, его молчащей человеческой совестью. Потому-то эти «люди разного склада ума сближались и постепенно становились необходимы друг другу».

Мрачная рефлексия Кайхосро, как правило, соотнесена с какой-либо библейской темой или образом. Свою индивидуальную проблему Кайхосро осознает как проблему человека вообще, в масштабе мировой истории человечества, осознает извечной и бесконечной. В свете этого такое соотнесение и связан-

¹ Т. Манн., т. 10, с. 278.

ное с ним довольно интенсивное насыщение романа библейской тематикой и органично и оправдано.

Отец Зосиме объясняет Кайхосро смысл любви к ближнему. Кайхосро же прямо признается: «Я ненавижу ближнего своего». Ведь именно ближнего-то своего он и боялся больше всего.

Масштабность, эпичность рефлексии Кайхосро проявляются в попытке охватить в фокусе своей личной судьбы историю человечества в свете вечных нравственных констант, ей сопутствующих. «Сколько раз ужасали Кайхосро жестокость и неистовство, каких только убийств не насмотрелся он с того дня, когда у него на глазах вырезали всю его семью! Каким только оружием не убивали друг друга люди из ненависти, трусости или невежества! Ведь десять заповедей, в сущности, не что иное, как перечисление десяти главных потребностей человека; человечность же — лишь робкая попытка не подавить, нет, но хоть немного приглушить эти десять потребностей, одна другой сильней и неодоливей! Человек всегда убивал своего брата или давал ему убить себя, ибо больше всего его раздражало существование брата, именно человека, во всем подобного ему самому, одной плоти и крови с ним самим! Именно ремесло брата всегда казалось ему прибыльней и легче собственного; именно женщина, которой коснулся брат, была для него привлекательней всех прочих; и он был уверен, что, убив брата, заживет припеваючи... Проклятие это исходило от самого бога...»

Этому мрачному бунту сознания, низвергающему мораль и веру в добро, решенному в системе библейской образности, противопоставлено бытие кровного братства, прошедшего путь отречения и удесятерившегося вследствие этого. Александр прозревает и идет на поиски своего брата. Бесконечная дорога, трудности пути, которые не под силу человеку, создают ситуацию окончательного прозрения: он в бреду, без сил, весь кошмар его жизни давит и мучает его, но «все его окоченевшее существо заливал поток облегчающей мысли: здесь прошел мой брат», это-то и заставляло разрывать пелену бреда и идти, идти, даже если и не будет конца.

С момента прозрения Александра в повествовании появляются токи торжествующей жизни. Мрачная и жестокая атмосфера романа рассеивается. Труден путь Александра до каторги, но ни видения воспаленного мозга, ни ворон, вьющийся над ним, ни сковывающий холод — ничто уже не может заглушить торжествующего звучания живой жизни. И не удивительно ли,

что самыми оптимистическими и торжествующими страницами стали те, что повествуют о кошмаре каторги!

Александр понимает, что они-то, эти каторжане, эти философы и мечтатели, и есть самые свободные люди, и живут и умирают они не напрасно — во имя «Новой Грузии — иной, как Марта, здоровой и мудрой». Романтический пафос этих страниц, их пронзительная поэтичность как нельзя более гармонирует с их социальным смыслом, с утверждением вечного идеала свободы, добытой в борьбе.

Реальная Грузия возникает на страницах романа после возвращения Александра с племянницей из Сибири. Это и знак «простора», более свободного, чем раньше, в том числе и «простора» и «высоты» социального взгляда на мир; это и знак высвобождения души из герметизма и скованности родового рока, закрытого в самом себе. Нельзя сказать, что до этих страниц роман Чиладзе в этом плане нереален; напротив, он перенасыщен реалиями, прежде всего детализацией самоанализа и анализа, но сама атмосфера повествования как бы лишена воздуха-пространства, поэтому почти и не было национально-реальной прикрепленности анализируемых фактов и событий. Это, видимо, вообще свойство субъективизации повествования. Роскошь и сочность осенних красок, показанная писателем в финале романа, выявляет его способности «живописца». Из этого можно заключить, что «герметизм» и «субъективизм» романа есть не столько специфическое свойство прозы О. Чиладзе, сколько заранее осознаваемая и художественно реализуемая цель и задача.

Как утверждение эпического начала, бесконечности жизни — маленький и светлый росток новой жизни на этом бедственном, изобилующем злом и добром семейном древе, — маленькая Марта, «благодаря своему дяде навек спасенная, навек вернувшаяся домой». Но роман не заканчивается на этой торжественно-патетической ноте, последняя фраза: «А больше с одорукого верзилы и спрашивать нечего...» — «снимает» пафос и свидетельствует о том, что при всей великой муке отречения и обретения смысла жизни судьба одного человека — всего лишь песчинка в бесконечном водовороте бытия. Этот акцент, эта соотнесенность с величием целого и создают эпические решения романов О. Чиладзе, строят их эпическую стихию, эпический мир.



СЮЖЕТ „БАЛАВАРИАНИ“ В ИСПАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Легенда об отшельнике Варлааме и его царственном ученике Иоасафе пользовалась необычайной популярностью в христианской литературе средневековья. С греческого перевода повести, выполненного видным деятелем грузинской философии Евфимием Ивером (955—1028) в 1048 году был сделан перевод на латинский язык, в результате чего легенда получила широкое распространение во всей Западной Европе. Современный английский ориенталист Дэвид М. Ланг, высоко оценивая деятельность основоположника Афонской литературной школы, пишет: «Грузины, заимствовав сюжет непосредственно у арабов, привнесли в повесть своеобразную христианскую романтику... Не будь грузинской версии и перевода, выполненного Евфимием Ивером из Афонской обители, повесть никогда не была бы переведена на греческий и не дошла бы до широкого круга тех читателей, которые наслаждались ею на разных языках христианского средневековья» («Мудрость Балавара», Нью-Йорк, 1957, с. 12, на англ. яз.).

В мировой литературе существует множество версий повести о Варлааме и Иоасафе. Почти невозможно, хотя бы с целью удовлетворения элементарной библиографической любознательности, изучить все ее бесчисленные трансформации, существующие в литературах восточных или западных христианских стран. Но достаточно сказать, что еще в средние века роман был переведен на сирийский, арабский, эфиопский, еврейский, армянский, латинский, французский, итальянский, немецкий, английский, ирландский, польский и богемский языки.

Испанский литературный критик XIX столетия Менендес-и-Пелайо подчеркивает «на редкость оригинальное и плодотвор-

ное мышление» автора романа, сумевшего преодолеть противоречивость взглядов, возвыситься над конфликтными моментами, существующими между халдейским, египетским, греческим, иудейским и христианским вероучениям (Лопе де Вега, соч., т. 4, Мадрид, 1894, с. XV, на исп. яз.).

Историю Варлаама по-разному освещают различные литературные источники: иудейская теологическая книга Иегуды Галеви «Кузари» (1141 г.), сочинение Раймонда Лулли (1233—1315 гг.), «Книга о язычнике и о трех мудрецах» и «Книга государств» Хуана Манюэля (1282—1349 гг.).

Особняком стоит роман еврейского писателя Абраама Ибн Хасдая, жителя Барселоны (XIII век), носящий название «Сын короля и Назир, или Дервиш» (впервые опубликован в Константинополе в 1538 году). Следовало ожидать, что рассказ о рождении и юношеских годах Будды здесь будет следовать арабской версии пехлевийского текста; но книга Хасдая представляет собой скорее мусульманскую переработку христианского «Балавариани». (Так чаще всего называют этот роман в грузинской научной литературе).

Менендес-и-Пелаёо здесь же упоминает скептический рассказ Боккаччо «О трех кольцах», в свою очередь послуживший основой для действительной драмы Лессинга «Натан Мудрый». Басни и иносказания, иллюстрирующие основные идеи романа, распространились посредством римского эпоса и проникли в литературы разных стран и народов. Две такие притчи Боккаччо включил в «Декамерон», а историю о трех сундуках Шекспир использовал в «Венецианском купце».

Острый интерес к сюжету «Балавариани», наблюдаемый в трудах литературоведов Испании еще задолго до нашего столетия,—не случайное явление, а вполне закономерное следствие глубокого воздействия идеи романа на крупнейших представителей искусства этой страны, творивших в разные времена. Но гуманистический смысл «Балавариани» наиболее близок писателям эпохи Возрождения.

В театральном наследии выдающегося испанского драматурга Лопе де Вега немаловажное место занимает пьеса «Барлан и Хосафа», входящая в цикл «комедий о святых». В этой пьесе Лопе де Вега не только использует сюжет романа Евфимия Ивера, но и следует христианским формам сказа, отказавшись от проникших с Востока через арабов форм повествования, с которыми он мог быть знаком хотя бы по «Книге государств» Хуана Манюэля. В этом литературном источнике воспроизведены некоторые эпизоды романа: религиозные спо-

ры, обращение короля в христианскую веру и т. п. Но воспитание инфанта вдали от людей мотивировано не астрономическими предсказаниями и даже не страхом перед христианским вероучением, а соображениями чисто гуманного характера, правда, ничем не оправданными и даже абсурдными: король Морован, боготворящий своего наследника, не желает, чтоб его существование было омрачено видом смерти или какого-либо другого горя. Отсюда можно заключить, что Лопе де Вега был знаком с латинской редакцией романа о Варлааме и Иоасафе либо с испанским переводом, выполненным лицензиатом Арсе Солорсано и опубликованным в Мадриде в 1608 году. Разрабатывая драматическую фабулу, Лопе де Вега дает волю своей поэтической фантазии. С целью обострения драматического сюжета он акцентирует жестокость, проявленную царем Абэниром по отношению к сыну, используя конфликт для достижения сценической динамики, и в то же время сокращает теологические места. В пьесе Лопе де Вега Барлану отведена лишь незначительная роль: подчиняясь воле ангела, он является перед Хосафой лишь затем, чтоб вкратце изложить ему суть христианства.

Драматическое произведение «Барлан и Хосафа» рассматривается как новый этап в творчестве Лопе де Вега в силу того, что в ранних его комедиях протагонист является объединяющим центром для всех остальных персонажей. Лопе де Вега даже не включает в пьесу всю историю принца, а представляет рыцарю Кардану (в греческом романе — Зардану) рассказывать о нем. Понуждаемый настойчивой любознательностью принца, Кардан рассказывает ему о том, как царь, испугавшись влияния «чужих богов», изолировал принца от окружающей действительности. Сознание того, что он умышленно лишен свободы, вызывает смятение в душе юноши. Уступая настойчивым мольбам сына, царь разрешает ему покинуть дворец, заранее позаботившись о том, чтоб все жизненные недуги были сокрыты от его глаз. И принц выходит «на свет божий, чтобы видеть и быть увиденным». В первый же день свободы он влюбляется в прекрасную пленницу Леусипе, дочь побежденного короля. Леусипе отличается от героинь «Балавариани», служащих слепым орудием в руках царя Абэнеса, не только именем, но и способностью пламенно любить. Несмотря на то, что образ Леусипе частично навеян избыточными в драме античными мотивами (любовь Леусипе к Хосафе сравнена с любовью Аполлона к Дафне), в целом это оригиналь-

ное драматическое творение Лопе де Вега, крайне интересное с психологической точки зрения. Образ Хосафы, обаятельного и мудрого юноши, в ряде сцен бледен и маловыразителен (например, в сцене трех встреч: с хромым, нищим и стариком), но его монологи являют собой образцы самого высокого поэтического искусства.

Во втором действии, стараясь обольстить принца, Леусипе обещает ему, что примет христианскую веру. Хосафа раздвоен. Большой динамичностью отличаются сцены отречения принца от престола в пользу Баракиа и его бегства в пустыню.

Третье действие посвящается духовному перерождению Хосафы и описанию жизни отшельников. В этой части пьесы Лопе де Вега обращается к форме эклоги, к спокойной, задушевной интонации. Рассказывая о смерти двух отшельников, он прибегает к религиозному пафосу, словно в противовес мирскому настроению двух первых действий. Но и в этой, заключительной части драмы фантастические элементы сочетаются с бытовыми. Эпизоды агиографического характера чередуются с житейскими и даже комическими сценами. Один из таких эпизодов — спор Хосафы с преследовавшей его Леусипе, который завершается победой принца над соблазном дьявола и обращением Леусипе в христианство. В финальной сцене Леусипе в одеянии отшельницы раскаивается в своих грехах: звонят колокола — предвестники расставания тела с душой. Леусипе, обнимая крест, умирает в глубине пещеры.

Несмотря на оригинальное построение, пьеса «Барлан и Хосафа» не рассчитана на широкую аудиторию.

Поразительным сходством отличаются отдельные монологи Хосафы и Сехисмундо — героя драмы Кальдерона «Жизнь есть сон». Однако Кальдерон намного глубже, чем его старший современник, вникает в философский смысл повести Евфимия Ивера.

Определяя целевую установку, объединяющую грузинскую и греческую версии романа о Варлааме и Иоасафе, Ш. Нуцубидзе приходит к следующему выводу: «Мудрость Балавара, как тема, целиком определяет всю сущность этого произведения в его грузинском восприятии. Ни одна редакция нашего романа не даёт этой внутренней цельности. Именно вследствие неумения понять эту мудрость Балавара арабская версия и отстала от грузинской. Что касается греческой версии, то она продолжила грузинскую версию по линии «мудро-

сти»¹, где на первом отрезке этой линии выступает «мудрость» Балавара, которая будет превзойдена «мудростью» Нахора...» (Ш. Нуцубидзе «К происхождению греческого романа «Варлаам и Иоасаф», Тбилиси, 1956, с. 182). Вся суть «мудрости» в том, что Нахор, тоже пустынный, похожий на Балавара (Варлаама), превзошел последнего в искусном изложении взглядов Маркиана Аристида — греческого апологета II века. Согласно Нуцубидзе, именно эта причина и побудила Иоанна Сабайта-Мосха, автора грузинского варианта романа (переведенного впоследствии на греческий язык Евфимием Ивером) дать ему такое заглавие: «Мудрость Балавара».

Мудрость эта стала предметом внимания Кальдерона. В сложнейшем образе Клотальдо он соединил двух героев: Балавара и Нахора, т. е. «мнимого Балавара». Это раздвоенная личность, раздираемая противоречивыми чувствами — долгом и желанием сохранить верность своему королю — постоянно твердит самому себе: «Верность души и верность вассала во мне сомкнулись» (1,4)². Не смея открыто признать в Росауре родную дочь, Клотальдо говорит ей: «Право, в подобном споре между жизнью и смертью не знаешь, что тяжелее» (1,4). Да, он и есть Нахор, трансформированный до неузнаваемости гениальным поэтом и мыслителем! Иначе король Базилио не стал бы называть его в первом же действии драмы «тайным орудием невиданных в мире событий» (1,3). Поручая Клотальдо судьбу своего сына и даже всей империи, Базилио говорит ему: «Я удалиться намерен, ты как его наставник встретишь его и направишь по дороге правды...» (II, I).

«Восточная канва» издавна занимала исследователей и переводчиков Кальдерона. Еще в 1900 году К. Бальмонт в послесловии к русскому переводу «Чистилища Святого Патрика», сравнивая Кальдерона с Шекспиром, говорит о том, что Кальдерон «напоминает индийскую мудрость «Упанишады» и все те страницы, где возникает блестящая идея Майи. Не будучи знаком ни с Шекспиром, ни с индийской философией, Кальдерон соприкасается с этими полосами света». Польского принца Сехисмундо, героя драмы «Жизнь есть сон», Бальмонт называет символом человека, одержимого бурными страстями, с противоречивыми устремлениями, который успокаивает себя философской формулой «Жизнь есть сон». Баль-

¹ Подчеркнуто автором.

² Перевод Инны Тыняновой.

монта проводит параллель между Кальдероном и Ибсеном. В отличие от Ибсена Кальдерон переносит проблемы этики на мировую арену, заключает их в грандиозные рамы вселенского бытия и превращает драму человеческих страстей в религиозно-философскую мистерию, полную символизма, яркого, как южный день». Бальмонтовская оценка почти совпадает с мнением Фридриха фон Шлегеля, считавшего Кальдерона «божественным художником, не только нарисовавшим, но и разгадавшим тайну жизни» (известные европейские литературоведы, такие, как, например, Джемс Келли, Ричард Тренч и другие, часто ссылаются на это высказывание Шлегеля).

В драме Кальдерона, так же как и в романе Евфимия Ивера, показана духовная история человека с позиции христианской идеологии. Сопоставление этих двух литературных памятников свидетельствует не только о родственности сюжетных линий, но и о тождественности целого комплекса религиозно-этических идей.

Сознание иллюзорности жизни, сомнение в земных ценностях роднит польского принца Сехисмундо с героем «Балавариани» Иоасафом, который вкратце следующим образом сформулировал смысл учения Балавара: «Если ты прежнюю свою жизнь не считаешь жизнью, то и предстоящую смерть не должен считать смертью — она не должна казаться злом»¹. Но Сехисмундо, являясь прототипом индийского царевича Иодасафа, одновременно является и носителем духовных свойств других действующих лиц «Балавариани». Это вполне естественно, так как в отличие от героев грузинского романа образ Сехисмундо символичен. Философское кредо Сехисмундо «Жизнь есть сон» соответствует лейтмотиву агиографического произведения Евфимия Ивера — «Вот образ сего мира не сущего». Исповедь индийского вельможи, преследуемого царем-идолопоклонником за христианское вероисповедание, служит как бы прологом духовной драмы Сехисмундо: «Отныне я осуждаю, царь, сей мир и предостерегаю тебя от него, ибо он отбирает то, что дает, и сожалеет о том, что дарит... Он грехами срывает одеяние, в котором ходит человек, пока не оголит его до срамоты и не навлечет на него позор и поношение: он унижает того, кого превозносит... Сегодня он уготовляет пищу пирующим, а завтра бросает их самих червям на съедение... Сегодня возлагает венец, украшенный драгоценными камнями, на голову того, чьи ланиты завтра зареет

¹ «Балавариани». Перевод Бидзины Абуладзе. Тбилиси, 1962.

в могилу. Сегодня украшает шею ожерельем, а завтра уничтожит железными наручниками и цепями».

Сехисмундо испытал на себе все превратности жизни, возводят на трон и тут же возвращают в темницу. Придворный Клотальдо призывает его к смирению, уверяя, что «и в сновиденье добро остается добром».

Конфликт, на котором построена драма Кальдерона, развивается внутри христианского мира, в то время как в «Балавариани» сопоставлены христианство и идолопоклонство. Действующие лица, созданные Кальдероном, это герои-символы, выразители определенных идей. Условно, как нам кажется, и избрание местом действия Польши. Предпосылки к выявлению воли героев идентичны как в грузинском, так и в испанском литературных памятниках. Король Польши Басилио, как и индийский царь Абэнес, увлечен астрологией. Он убежден, что с помощью этой науки человек может не только постичь закономерности жизни, но и предвидеть неожиданные повороты судьбы. Кальдерон делает акцент на отрицании примата интеллекта. Так же как и царь Абэнес, который по случаю рождения сына «собрал множество звездочетов, чтобы узнать, что предначертано царевичу», король Польши во всем доверяется гороскопу. Обоим наследникам небеса предсказывают необычную судьбу. Звездочет сообщает Абэнесу, что Иодасафу предстоит отречение от идолопоклонства: «Та слава, которой достигнет это дитя, не от сего мира, а кажется мне, что он будет великим подвижником на пути истины». Польскому же принцу Сехисмундо гороскоп пророчит более туманное, скорее всего роковое будущее: король видит поединок омытых кровью светил, ужаснейшее затмение солнца, градом камней сошедшие на землю черные тучи. Еще более зловещее предзнаменование — гибель королевы при рождении сына. Драматический характер этих предсказаний усугубляется привнесением в сюжет драмы комического элемента. Зловещие предзнаменования звезд сбываются наоборот: не Сехисмундо поднимает руку на короля, а сам король падает ниц к ногам принца. Король Басилио велел заточить в башню наследника трона. Единственным посредником между принцем и живым миром является верный вассал короля — Клотальдо, который «учил его знаниям, католической веры законам» (1,2).

Контраст между Иодасафом и Сехисмундо не ограничивается обыкновённым типологическим различием, существующим между героем агиографического произведения и символическим образом. Не потому ли, что образ Сехисмундо ослож-

нен в результате слияния в драме Кальдерона символического и реалистического планов? Отнюдь нет. В произведении Кальдерона не так легко отыскать четко выраженный реалистический план.

Кальдерон обладает чудесным даром гармонично сочетать в том или ином образе противоположные душевные качества, комические и трагические элементы. Н. Балашов в прототипе Басилио угадывает Ивана Грозного, а в Сехисмундо он видит принца-философа «гамлетовского склада», называя монолог Сехисмундо на тему «Жизнь есть сон» противовесом гамлетовскому «быть или не быть» эпохи Барокко (Н. И. Балашов «Славянская тематика у Кальдерона и проблема Ренессанс-Барокко в испанской литературе», Известия Академии наук, Серия литературы и языка, том XXVI, вып. I, 1967, с. 230, 235).

В образе Клотальдо соединены святой и дьявол, Балавар (он же Нахор) и Полоний, человечность и жестокость, мудрость и тупость, инстинкт самосохранения и подобающая вассалу самоотверженность. Отказавшись защитить родную дочь, он проявляет свойства, чуждые Балавару. **Но он же открывает Сехисмундо истину о непреходящей ценности добра:** «И в сновиденье добро остается добром». Сехисмундо, прежде грозившийся убить своего воспитателя, в последнем действии великодушно просит у него прощения, исполненный благодарности и смирения.

Парадоксальны не только понятия и люди, но даже события. Во время восстания шальная пуля убивает слугу Росауры Кларнета, двойника Санчо, который казался самым жизнеспособным среди всех действующих лиц. Не менее загадочно и поведение Сехисмундо, заключившего в прежнюю свою темницу главаря восстания, усилиями которого он вновь был водворен на трон. Это пародия на реализм.

Вершиной полифонического искусства является образ короля Басилио, в котором сочетаются божественное и человеческое начала, небесное милосердие и суровость родителя, требующего от потомства расплаты за собственные грехи (царь Абэнес). Полифоническим звучанием, гармоничной целеустремленностью и координированием событий в пространстве Кальдерон выражает дух своей эпохи — этим обусловлена его весьма ощутимая типологическая общность с Иоганном Себастьяном Бахом. С другой стороны, подобное усложнение художественных образов затрудняет цельное восприятие мировоззренческой системы художника.

В образе Басилио Кальдерон многократно подчеркивает сходство с Логосом. Не бросает ли тень на могущество Небесной Силы мятеж Сехисмундо, увенчавшийся победой? (см.: Н. И. Балашов «Славянская тематика у Кальдерона...», с. 235). Изучая гуманистические аспекты творчества Кальдерона, Н. Балашов обостряет внимание на акцентировании поэтом художественной идеи «свободной воли» (см. также: Н. И. Балашов «Религиозно-философская драма Кальдерона и идейные основы Барокко в Испании» в кн.: XVII век в мировом литературном развитии, М., 1969, с. 157).

Сопоставление драмы Кальдерона с грузинским литературным памятником «Балавариани» проливает новый свет на толкование понятия «свободной воли», а также на сложные взаимоотношения воли и разума.

В психологии Святого Августина понятие «воли» играет доминирующую роль. Имея волю, человек способен принимать решения. Точнее, воля может побудить человека сделать определенный шаг либо, наоборот, уклониться от подобного шага (Этьен Жильсон «История христианской философии в средние века», Лондон, 1980, с. 137—139, на англ. яз.). Августин делал различие между понятиями «свобода» и «свободная воля». «Свободная воля» есть стремление человека к справедливому и полезному, так как сама сущность свободы проявляется в любви к истине. Нравственное зло выражается в отклонении воли от бытия более полного к бытию менее полному. (Ср. Г. Г. Майоров «Формирование средневековой философии», М., 1979, с. 319). Согласно философской концепции Святого Августина, после грехопадения возвращение свободной воли возможно только с помощью божественной благодати.

По «Балавариани», воля повелевает разумом: «Разум и воля противостоят друг другу, и между ними существует исконная борьба: воля — друг души, а разум — ее противник. Воля, взяв на себя от души все трудности, не признает ни заботы, ни страха. Разум же, тесня душу и ввергая ее в скорбь, причиняет ей беды: научив жизни, отнимает волю».

Принимая во внимание эти внутренние противоречия, свойственные человеку, американский ученый Паркер приходит к следующему выводу: в аллегорической драме Кальдерона «человек склонен любить в себе то, что обещает сделать его великим и сильным», предпочитая разуму свободную волю и противопоставляя себя хаосу от имени бога (А. Паркер «Аллегорическая драма Кальдерона», Оксфорд, 1943, с. 216, на англ. яз.).

Благодаря свободной воле праведники Балавар и Иодасаф обретают могущество духа, преодолевают «сон», осознают цель и назначение своей жизни. Но не всякому дано возвыситься над «царством преходящего, управляемым любовью и умением». Служителям христианства, прошедшим сквозь столь трудные испытания, становится ясно, что «не в силах познать непреходящие дары Христа тот, кто не владеет волей и разумом своим».

Характерно, что Кальдерон в драме «Жизнь есть сон» так же часто обращается к испанскому слову «албедрио» (воля), как автор «Балавариани» Евфимий Ивер к соответствующему грузинскому слову «неба» (воля); Кальдерон даже персонифицирует это понятие в одной из своих религиозных драм, также носящей название «Жизнь есть сон».

Возвращение «свободной воли» дает возможность Сехисмундо, назвавшему отца «тираном» в своем первом монологе, преодолеть сомнения и постичь истину, т. е. гармоническую связь микрокосма с макрокосмом (Н. И. Балашов «Религиозно-философская драма Кальдерона», с. 165, 168).

Найдя эту истину, обретя «свободу воли», Сехисмундо признает авторитет Басилио (Логоса), называя воспитателя Клотальдо своей путеводной звездой. Он завершает свой «путь души», как и царевич Иодасаф, удалившийся в пустыню и передавший трон своему единоверцу Баракиа.

При сравнении семантического значения испанского слова «албедрио» и адекватного ему грузинского слова «неба» возникают сложные ассоциации, разнообразные смысловые их нюансы — твердость, непреклонность духа, либо присущее индивиду редкое душевное свойство, чем-то напоминающее кантовскую «интеллигибельность». Тем более, что подобное понимание «воли» находится в полной согласованности со следующим толкованием известного грузинского писателя и лексикографа Сулхана-Саба Орбелиани (1658—1725): «Воля — избрание чего-либо одного среди множества возможностей добрых или злых. Известны три проявления воли: первое есть проявление посредством плоти; оно выражается в сытости, бездеятельности и обжорстве; среднее (второе) выше первого, но оно не полно и не чисто достигает последующего; третье есть проявление посредством души; оно состоит в духовном избрании одного среди многих, в чем и узревается в полной мере совершенство божественного жития».

Игорь БОГОМОЛОВ

ПЕВЕЦ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

К 70-ЛЕТИЮ
ОЛЕКСЫ НОВИЦКОГО

К числу искренних друзей и почитателей многовековой грузинской литературы относится Олекса Новицкий — замечательный украинский поэт, неутомимый собиратель всего, что связано с историей и сегодняшним днем дружбы грузинского и украинского народов, человек вдохновенного труда, так много сделавший за десятилетия в благородном деле дальнейшего укрепления литературных взаимосвязей братских народов СССР. В одном из стихотворений О. Новицкий писал:

Нет в мире этом
большого богатства,
И нет на свете
большого добра,
Чем вековое и святое
братство
Сынов Риони,
Волги и Днепра.

В этих словах, воспринимаемых как жизненное и творческое кредо, — весь Новицкий, его неумная поэтическая душа, открытое для дружбы большое сердце.

Особое место занимает в жизни и творчестве украинского поэта Грузия — его первая и всепоглощающая поэтическая любовь. Еще в 30-х гг. О. Новицкий создал проникновенные стихотворения, посвященные нашей республике. На одно из них — «Вечер в Марткопи» — обратил внимание М. Бажан, предложивший молодому поэту перевести произведения С. Шаншиашвили и И. Мосашвили. Так, с благословения М. Бажана, началось нелегкое, но благородное служение О. Новицкого грузинской литературе, принесшее ему самое широкое признание. «Есть... образы, — утверждал Г. Леонидзе, — ставшие почти обязательными для каждого грузина и украинца, пишущего о нашей дружбе... Это — образы дорогих своему сердцу и сердцу каждого грузина Микола Бажана, Максима Рыльского, Павло Тычины и Андрея Малышко. Это — так много сделавшие для всех нас Олекса Новицкий и Дмитро Косарик».

Трудно перечислить все то, что связано с переводческой, научной и пропагандистской деятельностью О. Но-

вицкого. Но, конечно же, нельзя не сказать об огромной работе, проделанной им (опять же по предложению М. Бажана) как составителем двухтомной антологии грузинской поэзии, изданной на украинском языке. О. Новицкий неоднократно подчеркивал, что с огромным удовольствием и радостным ощущением от пережитого и прочувствованного, от виденного и запечатленного в его сердце он и теперь вспоминает о духе содружества, внимательнейшего отношения к нему со стороны грузинских писателей и литературоведов. Как живые встают перед ним в жизненных фактах, характерах, лучших проявлениях Г. Табидзе, Г. Леонидзе, С. Чиковани, И. Гришашвили, Д. Гачечиладзе, Б. Жгенти, с которыми приходилось консультироваться по ряду вопросов, связанных с историческим процессом развития грузинской поэзии. С благодарностью вспоминает О. Новицкий и о большой помощи, которую оказали ему А. Барамидзе и Г. Маргвелашвили. «Впервые, — пишет О. Новицкий, — я почувствовал всю красоту грузинской поэзии, встретившись в 1935 году в Киеве с замечательным мастером стиха Тицианом Табидзе... С тех пор с Грузией меня связывают неразрывные узы творческой дружбы... Я много ездил по дорогам Грузии, и в этих поездках рождались новые поэтические образы. Я глубже осознавал нерушимое братство наших народов».

Именно это чувство семьи единой руководило О. Новицким в работе над составлением антологии, в которой

он выступил и как замечательный переводчик ряда образцов грузинской поэзии. «Эти два тома, — по словам Г. Абашидзе, — итог благородного труда украинских поэтов; они вошли весомым вкладом в величественную сокровищницу нашей вековой дружбы».

Пристально следя за развитием современной грузинской литературы, О. Новицкий стремился сделать ее образцы достоянием украинского читателя, о чем свидетельствует любовно составленная им антология молодой грузинской поэзии «Солнечная гроздь», вышедшая в издательстве ЦК ЛКСМУ «Молодь».

Работа над составлением этих антологий потребовала глубокого изучения не только грузинской поэзии, но и богатейшей истории грузино - украинского общественно - литературного содружества, которому О. Новицкий посвятил целый ряд интересных литературоведческих статей, опубликованных как на Украине, так и в Грузии. Неутомимые поиски, прекрасное знание материала позволили О. Новицкому составить и издать на украинском языке интереснейшую книгу «Радужными мостами» — сборник, посвященный украинско - грузинским литературным взаимосвязям. Целый ряд материалов, вошедших в сборник, был найден составителем в редких изданиях, со времени выхода которых прошло немало десятилетий. К их числу относятся труды Н. Гулака, П. Умикашвили, А. Крымского и других. Значительны заслуги О.

Новицкого и как переводчика произведений Сулхана-Саба Орбелиани, И. Чавчавадзе, А. Церетели, Г. Табидзе, Г. Леонидзе, С. Чиковани, И. Гришашвили, С. Шаншиашвили, И. Мосашвили, И. Нонешвили, И. Абашидзе, К. Каладзе, К. Надирадзе, Р. Маргиани, Х. Берулава, Д. Чарквиани, Т. Джангулашвили и многих других.

Если бы связи О. Новицкого с Грузией и ее литературой ограничились только сферой художественных переводов, то и тогда украинский поэт несомненно заслужил бы признание грузинской общественности.

Переводы О. Новицкого прежде всего свидетельствуют о его тонком вкусе, глубоком понимании творчества грузинских поэтов. Переводчик прекрасно понял их основное содержание, прочувствовал предмет поэтического воссоздания, что дало ему ключ к верному пониманию не только сути первоисточников, но и личности самих грузинских поэтов, обеспечив ему тем самым во многих случаях творческие победы.

В лучших переводах О. Новицкого мы сразу же узнаем всеобъемлющую ширь и глубину лирики Г. Табидзе, насыщенную образность Г. Леонидзе, мудрость и изящество стиха С. Чиковани, задушевность строк И. Нонешвили, размеренный, неспешный тон лирики И. Абашидзе, жизнерадостность К. Каладзе.

Переводы О. Новицкого пользуются большим успехом. Достаточно сказать, что композитор А. Лазаренко создал

популярную песню на перевод стихотворения Г. Табидзе «Каждый имеет свою любовь».

Широкой популярностью среди многочисленных читателей и почитателей таланта О. Новицкого пользуются и его многочисленные оригинальные стихотворения, посвященные Грузии, в которых вдохновенно воспета вековая дружба украинского и грузинского народов, братство культур. Характерно, что стихотворение О. Новицкого «Мтацминда» в свое время высоко оценил Галактион Табидзе.

Недавно украинская общественность отметила 70-летие со дня рождения и 50-летие литературно-общественной деятельности О. Новицкого. Свой юбилей поэт встретил преисполненный новых творческих замыслов. Им подготовлен к изданию сборник «Венок Лесе Украинке», в который вошли переводы произведений грузинских писателей, посвященных великой поэтессе. Увлеченно работает О. Новицкий над переводом исторических романов Г. Абашидзе «Лашарела», «Долгая ночь», «Цотнэ, или Падение и возвышение Грузии». И, конечно же, продолжает отдавать щедрую поэтическую дань столь любимой им Грузии.

Высоко ценя его заслуги, мы от всей души желаем замечательному украинскому поэту и переводчику дальнейших творческих свершений, которые так радуют всех почитателей его светлого таланта.

ЕКАТЕРИНА Николаевна Горбунова — известный в стране литературовед и критик, автор многих книг, в числе которых получившая самую высокую оценку литературоведов, критиков и читателей «Юрий Бондарев. Очерк творчества», родилась в Тбилиси. И этот город, по ее словам, навсегда стал для нее «славнейшим и прекраснейшим на земле».

Детство, проведенное на Арсенальной улице, где жили ее прабабка-грузинка, дед и родители, было наполнено радостью, веселыми играми, жарким солнцем и еще чем-то необыкновенно светлым, что на всю жизнь вошло в душу и согревало ее в самые тяжелые минуты жизни. А их на долю выпускницы театроведческого факультета ГИТИСа выпало немало.

Спустя год после окончания института, когда Е. Горбунова, работая во Всесоюзном театральном обществе, все чаще выступала на страницах печати как театраль- ный критик, мечтала об аспирантуре, грянули первые залпы Великой Отечественной войны. В это тяжелое для страны время молодая женщина, простившись с родителями и маленьким

40 ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Валентина БАЛУАШВИЛИ

Автор и его книга

сыном, добровольно вступила в ряды Красной Армии.
«Война, — скажет в книге о творчестве Ю. Бондарева Е. Горбунова, — разделила жизнь молодого поколения на несовместимые друг с другом «до» и «после». Все, что было «до», воспринималось как «когда-то», как что-то такое, чего, возможно, еще и не было... А «после» растянулось на долгие четыре года...»¹.

Для представителей молодого поколения, к которому принадлежали Юрий Бондарев и Екатерина Горбунова, война была школой жизни, школой суровой и жестокой. Командир противотанкового орудия Ю. Бондарев начал воевать под Сталинградом и прошагал с противотанковым взводом от заснеженных волжских степей до Карпат. Будущий исследователь его творчества Е. Горбунова, начавшая службу в армии полнотруком госпиталя, закончила войну в Берлине — в качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда». В самых тяжелых обстоятельствах это поколение, чья юность была опалена войной, выдержало испытание на мужество и человечность, сохранив для себя такие понятия, как патриотизм, дружба и товарищество, любовь и ненависть, принципиальность и доброта.

«Военным человеком в подлинном смысле слова становился рано или поздно на фронте каждый, — заметит спустя годы Е. Горбунова, — но каждый по-своему, пройдя через свое особое испытание, как бы заново формирующее всю психическую структуру».

Таким испытанием для самой Екатерины Николаевны была пережитая в 1942 году тягостная горечь отступления на южном и юго-западном фронтах: она прошла с войсками несколько сот километров, была контужена. Тяжелые переживания усугублялись тем, что в захваченном немцами Пятигорске оставались эвакуированные из Москвы ее родители и сынишка. Покидая с частями город, она видела, как немцы бомбили район, где они жили, как там начались пожары. Живы ли самые дорогие ей люди, а если живы, что будет с семьей офицера-коммуниста с приходом гитлеровцев?

Эти вопросы не давали молодой женщине покоя и тогда, когда она в потрепанном, выгоревшем обмундировании, полуголодная брела вместе с такими же, как она, солдатами и командирами мимо опустевших станиц, по горным тропам

¹ Е. Горбунова. Юрий Бондарев. Очерк творчества. М., 1981 г.

и перевалам, и тогда, когда, сама тому не веря, оказалась в столице Грузии.

По ночам мучили кошмары. Чаще всего вставал перед глазами горящий Пятигорск. Но всплывали порой и другие врезавшиеся в память картины увиденного и пережитого.

...Нальчик. Августовская жара. Среди эшелонов, забивших станционные пути, состав с зоопарком, который куда-то эвакуируют. В клетках сморенные жарой, жаждой и голодом притихшие львы и тигры, лисицы и волки, и еще какие-то звери и птицы. А клетки буквально облеплены людьми, большей частью женщинами и детьми с узлами, мешками, чемоданами. Люди не боятся зверей, звери равнодушны к людям. Перрон пуст. Только на одной скамейке под окнами служебного помещения спит мальчик — ему от силы полтора года. Грязная рубашонка задралась до самой шеи, на заплаканном личике грязные разводы, ножки и живот облеплены мухами. А мальчик спит, и рядом никого. За него больно до слез — он так похож по возрасту на сына...

Иногда же виделся выщербленный, мягкий от жары асфальт шоссейной дороги, по которой она идет. Почти рядом — море, синее, спокойное. А в небе безбоязненно кружат немецкие самолеты. Они стреляют из пулеметов по обозам, по пехоте, по отдельным людям. Все это утомило, стало привычным, — нет больше сил бросаться на землю, в кювет... А по морю идут в Батуми военные корабли. Вокруг снуют катера, бросают глубинные бомбы, и на притихшей глади предутреннего моря взрываются немыслимо прекрасные водяные фонтаны...

Война, ежечасно опалая людей дыханием смерти, переделывала их, закаляла характеры. Но в самых тяжелых, порой, казалось, нечеловеческих условиях память юности оставалась незапятнанной. В человеке могли уживаться «самые противоречивые качества: жгучая ненависть к фашизму и его злодеяниям, высокая идейность, уверенный военный профессионализм с почти детской душевной ранимостью, рыцарской преданностью коммунистическим идеалам, красоте, правде, стыдливо скрываемой нежностью и добротой»¹.

Именно это сочетание, казалось бы, несовместимых качеств поразило меня в Екатерине Горбуновой, когда мы впер-

¹ Е Горбунова. Юрий Бондарев. Очерк творчества. М., 1981, с. 14.


вые встретились с ней в начале 1943 года в редакции газеты Закфронта «Боец РККА».

В гимнастерке и юбке цвета хаки, с погонями капитана и портупеей через плечо, стройная, подтянутая, она показалась мне, новому литсотруднику отдела пропаганды, слишком суровой и серьезной. Но это было лишь первое впечатление. Несколько дней спустя уже стало очевидно, какой это теплый, добрый, мягкий и отзывчивый человек. Высокая культура, интеллигентность натуры сочетались в ней с выдержкой, упорством, обостренным чувством ответственности.

Екатерина Николаевна поведала мне, как в Тбилиси в Управлении формирования фронта ее поначалу хотели демобилизовать и отправить за Каспий, в тыл. Но она не соглашалась надеясь в глубине души вернуться с войсками в освобожденный Пятигорск, узнать о судьбе сына, родных. В конце концов добилась своего — получила назначение в редакцию газеты «Боец РККА», хотя была предупреждена, что вряд ли ее примут: редактор категорически против корреспондентов-женщин — писать не умеют, в командировку на фронт не пошлешь.

Не без чувства юмора Екатерина Николаевна рассказывала:

— Пришла в редакцию. Встретил меня майор Костров, заместитель редактора, симпатично, сочувственно, но предупредил, что шансов остаться в редакции нет, редактор, кроме всего остального, женоненавистник! Пошла к редактору. Сидит майор с синими, холодными глазами и каменным лицом и твердит только одно: «Не возьму». А я свое: «Не уйду. Есть приказ». И так без конца — он свое, я свое. Наконец отправил меня обратно к Кострову, вызвал того, долго что-то решали, потом повел меня Костров к начальнику отдела пропаганды, представил и говорит: «Напишите пропагандистскую статью на тему «Умело владей вверенным тебе оружием». Пропагандистские статьи, как я потом узнала, были самым узким местом в редакции, писать их не умели, и редактор понадеялся, что я на этом «провалюсь». А я-то весь год была политруком, только такие беседы и проводила, да и фронт повидала. Взяла я подшивки «Красной звезды» и фронтовых газет, выбрала факты (помню, об уличных боях в Сталинграде, о летчике Сафонове, сбившем тараном два самолета и севшем на землю невредимым, и др.), села в отделе за стол и написала статью в предложенных



размерах (подвал). Отпустили меня до вечера. Вечером пришла снова. Какое-то вижу замешательство, но, чувствую, рошее. Дают мне верстки моей статьи, она уже поставлена в номер. Ничего не правили, только подписи еще нет. Жмутся, смущаются. Я спрашиваю: «В чем дело?» С извинениями и реверансами говорят: «Наш редактор хотел бы подписать статью мужской фамилией — «Политрук Горбунов». «Только и всего? Да пожалуйста! Хоть Иванов!»

Утром прихожу в редакцию — газеты на столе и подписано: «Политрук Е. Горбунова»! Так я и осталась в газете, да еще в родном моем сердцу Тбилиси.

Никаких скидок женщине-корреспонденту в редакции не было: ей, как и остальным, нередко приходилось работать сутками, выезжать на фронт, вернувшись из командировки и сдав материал, тут же отправляться по новому заданию. Военные корреспонденты до частей и подразделений часто добирались на попутных машинах, в ожидании их часами мерзли на контрольно-пропускных пунктах, подвергались неизбежным для военной обстановки опасностям. Капитану Горбуновой запомнился случай возле одной из железнодорожных станций:

— Перед самой станцией нас настиг немецкий самолет, точно сбросивший груз на железнодорожное полотно. Загорелся состав с боеприпасами. Его расцепили, но часть вагонов продолжала взрываться. В низинке перед станцией скопились десятки машин, а новые все прибывали. Мы стояли у самого железнодорожного переезда. Стоило проскочить через переезд и промчаться метров двести вдоль эшелона — и мы уже находились бы в зоне относительной безопасности.

Так и решили я и Николай Левандов, сержант, водитель редакционной машины. Затих грохот очередного взрыва, и мы — на переезде. Николай высовывает голову из кабины... и мотор в ту же минуту глохнет. Как заводились фронтные машины, знает каждый: длинную железную ручку, лежащую под сиденьем водителя, крутят все по очереди до полного изнеможения, пока наконец-то не возникнет долгожданное урчание мотора. На Николае лица нет. Я по долгу старшего по званию призываю к спокойствию, хотя сердце у самой холодеет. Николай выходит на рельсы, и на этот раз мотор заводится с первого оборота. Дальше все как по расписанию: рывок на шоссе, закиданному разорвавшимися и не

разорвавшимися снарядами, осколками техники, — и мы едем, ускользя от следующего захода самолета.

Журналисту-женщине в командировках было трудно.

— Стеснялась мужчин, — вспоминает Е. Горбунова, — не ела, тоже стеснялась сказать, что голодна, а аттестат поставят на довольствие только завтра, мерзла, не мылась, не переодевалась, ночевала где придется — чаще всего у связисток или в медсанбате, а их еще надо найти. Бывало, бредешь ночью по развороченному полю, спотыкаешься, разбиваешь коленки, случалось — заплачешь.

Капитан Горбунова выступала на страницах газеты с пропагандистскими материалами. Помню, как хвалили на редакционной летучке ее статью «Что требует партия от коммуниста Красной Армии» и многие другие.

Нередко ей поручали готовить к печати и статьи лиц высшего командного состава. Был однажды случай, когда начальник штаба фронта вызвал к себе на 24.00 корреспондента газеты, подготовившего к печати его материал о Сталинградской операции. Этим корреспондентом была Е. Горбунова.

«Пришла. Тихо, пусто. Адъютант: «Вы к кому?» Объяснила. Вышел из кабинета начальник штаба, пригласил войти. Моложавый. Приятный.

Последовал диалог:

— Вы по какому вопросу, товарищ капитан?

— Вызывали!

— Я просил корреспондента, который готовил мою статью.

— Это я!

Начальник штаба даже встал:

— Не может быть!

— Правда, я.

— Ну, молодец! Да кто же вы по профессии?

— Театральный критик.

Начальник штаба был удивлен. За статью благодарил. Когда Катюша, как ласково называли ее коллеги-журналисты, улыбаясь, рассказывала об этом в редакции, все радовались за нее и от души поздравляли с новым творческим успехом.

Поручали Е. Горбуновой и очерки о политработниках. Для этих ее очерков было характерно глубокое понимание

особенностей партийно-политической и воспитательной работы в войсках. В качестве примера сошлюсь на очерк «Парторг роты Амвросий Циквадзе». В нем интересно и подробно рассказывалось о пути, пройденном А. Циквадзе от комсорга до парторга роты, о том, как растили, учили и воспитывали молодого коммуниста партийные организации батальона и полка. В результате парторганизация роты, руководимая Амвросием Циквадзе, стала одной из лучших в полку.

Нетерпимость коммуниста Е. Горбуновой к недостаткам, ее принципиальность отражались в критических статьях. Так, в статье с острым и броским заголовком, на котором настоял начальник отдела пропаганды майор Л. Ботвинский «Бездельники из ДКА», очень остро ставился вопрос о провале политической и агитационной работы в одном гарнизонном Доме Красной Армии, в статье «Партийное взыскание» указывалось на недостатки в повседневной политико-воспитательной работе с бойцами.

Много корреспонденций Е. Горбуновой было посвящено людям и делам 12-го Стрелкового корпуса, которым командовал генерал Г. И. Купарадзе: она была специальным корреспондентом по этому корпусу от газеты. Всегда тепло и доброжелательно, «как свою» встречали ее не только командир корпуса, но и начальник политотдела корпуса полковник О. Мусеридзе, командир дивизии полковник В. Хубулурн, не говоря уже о командирах и парторгах подразделений.

В январе 1943 года, когда началось наступление Северной группы войск Закавказского фронта на Северный Кавказ, где в то время шли бои, была направлена редакцией для сбора материала группа корреспондентов. В их числе была и капитан Екатерина Горбунова, упросившая редактора послать и ее. Шла она теми же дорогами, по которым отступала: через Главный Кавказский хребет и Северную Осетию на Кубань. Случай дал ей возможность побывать в затопленном водой (немцы при отступлении взорвали водопровод) и горящем Пятигорске. Здесь она с трудом разыскала истощенных, больных, но, к счастью, живых сына и родителей — их прятали, спасая от преследования гестапо, соседи. Минуты свиданий были короткими, но о них до сих пор вспоминает Екатерина Николаевна, как о самых счастливых и радостных в ее жизни. И по сей день не забылось, не стерлось из памяти увиденное тогда в освобожденном от врага Пятигорске. Первое, что бросилось в глаза, по ее словам, —

это «желтые пятки босых ног румына в высокой бараньей шапке, лежащего на тротуаре. Немцев видела, а вот Румына — в первый раз. Стало даже грустно, тяжело. Зачем пришел он в чужую страну, с чужими войсками, ради чужих интересов и теперь вот лежит убитый в чужом городе, о котором прежде, наверное, и не слышал никогда?»

Видела горящее гестапо: внутри все взорвано и успело уже выгореть, дымятся обуглившиеся балки и перекрытия, да вдоль подоконника беззвучно, деловито ползет огонек, подбирающий остатки. Символическая картина, предвосхитившая падение третьего рейха в мае 1945 года.

Вновь побывала в Нальчике, где во время отступления спал на лавочке мальчонка и томились жаждою люди и звери. На месте станции оказался сплошной битый кирпич — «словно его разровняли бульдозером». А на окраине города — свежие рвы с казненным населением, триста человек. Две старушки лежат, тесно обнявшись...

Вновь и вновь возникали мысли о жестокости и вероломстве врага, посягнувшего на самое святое — свободу Отечества, о мере ответственности каждого за родную землю, за будущее, за мир на земле. Увиденное и пережитое поможет Е. Горбуновой спустя годы выявить, как в экстремальности напряженнейших конфликтов герои произведений Юрия Бондарева познают истину о «единстве своего и общего, будь то своя собственная жизнь или жизнь вверенного тебе батальона, батареи, дивизии. А в конечном счете жизнь Отечества, ответственность за свободу и жизнь народа, которую каждый несет самостоятельно»¹. Потому-то наивысшее счастье война — ощутив себя частицей народа, истинного носителя критериев и норм жизни, испытать причастность к его Победе, к его торжеству.

Сама Е. Горбунова с особой силой впервые ощутила это, когда советские войска вышли на Кубань. Радость, ликование царили среди рядовых и офицеров. Утром в казачьей хате она беседовала с командиром особо отличившегося полка и начальником штаба. Оба оказались москвичами, и беседа затянулась. А вечером она была уже в соседней станице, у минометчиков, которые встретили ее как родную, преподнесли кружку, не предупредив, что в ней спирт. «Я чуть не задохнулась, — вспоминала Екатерина Николаевна, — а минометчики буквально ликовали. Ночью присутствовала при

¹ Е. Горбунова. Юрий Бондарев. Очерк творчества, с. 78.

вручении партийных билетов и наград...» Об этом торжественном событии в части рассказала Е. Горбунова в корреспонденции «За правое дело», оперативно переданной редакцию. Опубликованная в газете 21 января 1943 года, статья начиналась словами: «В тесной крестьянской избе много людей. Мерцающий свет самодельного фитиля едва освещает присутствующих. Мужественные бойцы и командиры, закаленные в жестоких боях с врагами Отечества, радостно возбуждены. Освободители Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Пятигорска пришли сюда получить партийные документы, заслуженные ими в победных боях».

Рассказав о подвигах тех, кто вступал в партию, и отметив, что лишь за последние три дня боев в части вручено 170 партийных и 380 комсомольских билетов, Е. Горбунова подчеркивала: «Это самое убедительное доказательство нерушимой связи нашего советского народа-воина с великой партией Ленина, ведущей нас к победе».

В числе материалов о партийно-политической работе на фронте, присланных Е. Горбуновой из действующей армии, был и оперативный репортаж «Митинг перед боем».

Когда Е. Горбунова вернулась в редакцию, она вся светила радостью — еще бы, и в наступлении была, и семью разыскала, помогла ей чем могла в тот короткий срок своего пребывания в Пятигорске. Впечатлениями о наступательных действиях наших войск она делилась не только с читателями «Бойца РККА». Много рассказывала своим коллегам-журналистам, друзьям, людям, которые ей стали близки. Среди них были Мария Маргвелашвили и ее семья, майор Иван Кебадзе, начальник отделения госпиталя, в который Горбунова попала под самый Новый, 1944 год, и другие тбилисцы.

Пройдут годы, и, вспоминая минувшее, Екатерина Николаевна Горбунова в письме к автору этих строк признается: «Пребывание в Грузии в годы войны наложило глубочайший отпечаток на мою душу и на всю последующую жизнь. Ведь в труднейшее время я оказалась у себя «дома», в городе, в котором родилась и провела детство, о котором у нас в семье всегда говорили только с уважением и нежностью... Мне до сих пор снится Тбилиси, Военно-Грузинская дорога и перевал, через который я несколько раз переправлялась зимой, снежный обвал, в который мы угодили, горные вершины и пропасти. И, главное, люди, с которыми сбли-

зила меня судьба в эти годы: я имею в виду прежде всего семью Маргвелашвили, приютившую меня и согревавшую самой искренней любовью и заботой». Тепло вспоминает Е. Горбунова и начальника сыпнотифозного отделения госпиталя: «Как нежно, заботливо, бережно отнеслись ко мне в этом отделении, сколько хороших часов провела я в обществе медсестричек и самого Ваню Кебадзе. Когда меня выписывали из госпиталя, он сказал мне: «Вот так мы отдаем свою душу людям, которых выхаживаем, а они уходят от нас и забывают все». Я тогда же сказала, что со мною этого никогда не случится. И видишь, я помню все, как сегодня...»

О том, что Екатерина Николаевна помнит «все, как сегодня», свидетельствуют многие строки ее писем. Так, в феврале 1976 года она писала:

«Я не пропускаю ни одного номера «Правды» с описанием учений «Кавказ». Что-то родное, близкое, незабываемое. Ведь это же наш фронт... Но как все переменялось! Я имею в виду вооруженность армии, ее неограниченные технические и транспортные возможности. Мы-то в свое время протопали все эти степи и сопки на собственных, изрядно поврежденных ногах, и рассыпали на нас с неба всякий металлический «мусор» в неограниченном количестве без всяких препон и защиты. Ну, дело прошлое и к тому же кровное, родное...»

Военная служба в редакции газеты Закавказья «Боец РККА», пребывание в Грузии многое определили в характере и дальнейшей деятельности Е. Н. Горбуновой. Живое чувство сопричастности к происходящему, пристальное внимание к человеку и высокая мера ответственности за него, творческая самоотдача вплоть «до полного опустошения» проявились и тогда, когда она в 1944 году работала после перевода в Москву в редакции газеты «Красная звезда», корреспондентом которой закончила войну в мае 1945 года в освобожденном Берлине, и тогда, когда после демобилизации трудилась в Антифашистском комитете советских женщин, одновременно заведя отделом в редакции журнала «Советская женщина», и тогда, когда перешла к научной работе. Защитив кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, издав ряд книг, в том числе «Идеи, конфликты, характеры», «Вопросы теории реалистической драмы», «Перед лицом новой действительности», «Заметки о литературном взаимодействии» и другие, Екатерина Николаевна подошла к своей теме — о творчестве Юрия Бондарева, писателя, про-

шедшего, как и она, через огонь Великой Отечественной войны и сохранившего память о ней в своих произведениях, умеющего проникнуть в тайны человеческой психологии и раскрыть их с необычайной силой художественного мастерства.

«Я, возможно, не написала бы с такой самоотдачей мою книгу о Бондареве, — признается Екатерина Николаевна, — не будь у меня за плечами этих трудных и благородных лет. Они вооружили меня верой в людей, в добро, справедливость, в беззаветность следования своим идеалам и целям».

Но почему именно Юрий Бондарев, чем он привлек внимание исследователя? Ответ на этот вопрос дает, в сущности, сама Е. Горбунова в статье, опубликованной в газете «Известия»¹. Характеризуя произведения писателя, она подчеркивает, чем близки они советскому и зарубежному читателю, ей самой: «Глубина и значительность их содержания, обращенного к глобальным явлениям современности, сложный драматизм изображаемых событий, полных важного всеобщего значения, так же как и характеры литературных персонажей, формирующиеся в преодолении внешних и внутренних противоречий, дают основание для серьезных размышлений о сути многих явлений современной жизни». При этом, пишет Е. Горбунова, «философских обобщений автор достигает не дидактическими рассуждениями, а через систему художественных образов, вызывающих острое эмоциональное сопереживание читателя».

Привлек Е. Горбунову и гуманизм — стержень и ориентир книг Ю. Бондарева. Главное — человек, но человек не сам по себе, а в его связях с историей, обществом, народом. Не случайно, определяя достоинство книг писателей военного поколения, Е. Горбунова замечала в своей монографии: «Их произведения, отмеченные печатью собственно причастия к пережитому, исключительной подлинностью жизненного опыта, ставили в центр сюжетного развития личности, поражающую точностью индивидуальной характеристики и одновременно как бы вобравшую в себя наиболее значительные черты переживаемого времени»².

Работа над книгой приносила Е. Горбуновой много радости и сомнений, волнений и тревог. Получится ли? То, что

¹ Е. Горбунова. Творить добро вокруг себя. «Известия», 1983, 4 декабря.

² Е. Горбунова. Юрий Бондарев, с. 65—66.

сказано в монографии о творческом процессе, характерном для Ю. Бондарева, — писать каждую книгу «расточительно и щедро», отдавая всего себя без остатка, — в полной мере может быть отнесено к исследователю: «...меня особенно тревожит, — признавалась она в одном из писем, — что Юрий Бондарев уверовал в мое понимание и способности, в мою эрудицию. Звонит мне, разговаривает подолгу, дарит книги... Я была у него — не могли наговориться. Все это делает меня просто счастливой — я ведь бесконечно люблю его как художника, как личность. И одновременно вселяет мучительную тревогу: одно дело рассуждать о том, о сем. А другое — написать книгу. Да так, чтобы понравилась мне и ему».

В другом письме: «Застряла где-то около середины пути. Но я, несмотря на плохое самочувствие, ни на один день не бросаю работу и как дятел стучу по крошечке, по зернышку. Иногда кажется, что не одолею, иногда какая-то надежда и просвет. Только бы хватило физических сил и выдержки...»

И когда книга была близка к завершению: «Осталась одна глава — заключительная. Самая для меня трудная, хотя и многожды продуманная. Глава о «Береге». Об этом романе мы много говорили с Бондаревым, и ему моя концепция показалась оригинальной, интересной. Но одно дело на словах высказать кое-какие соображения, а другое — воплотить их на бумаге. Сейчас я и маюсь с этими трудностями...»

Но вот вышла книга, ставшая спустя короткое время библиографической редкостью. Она вызвала множество откликов — рецензий и читательских писем. Критика признала, что монография Е. Горбуновой «Юрий Бондарев. Очерк творчества» — серьезный вклад в советское литературоведение, фундаментальное исследование творчества большого и талантливого художника, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР. Отмечалось, что Е. Горбунова выступает на страницах книги как искусный, тонкий и глубокий исследователь, чутко улавливающий нюансы эстетических, философских, нравственных проблем анализируемых произведений, значение их идейных концепций, богатство и своеобразие художественного мира писателя.

Исследование творческого пути писателя Е. Горбунова ведет, отталкиваясь от суждения Ю. Бондарева о том, что главные герои литературы — это Личность, История, Борьба, Время. Нравственность. На первое место писатель ставит Личность,

поскольку противоречия общества, эпохи, мира с особой силой и глубиной проявляются именно в нравственной сфере:

Прослеживая шаг за шагом творческий путь Юрия Бондарева, определяя идейно-эстетическую проблематику, конфликтную структуру произведений, Е. Горбунова соотносит образы персонажей с хорошо известной ей самой реальностью фронтовой жизни, ее противоречиями, неоднозначностью, так часто ломавшими и заново формировавшими характеры людей. Анализируя образы, убедительно раскрывает, как война проявляла внутреннюю суть людей, закаляя и нравственно укрепляя одних, ломая, подминая под себя других — слабых духом, безвольных и эгоцентричных.

Души героев Ю. Бондарева, таких как Ермаков («Батальоны просят огня»), Новиков («Последние залпы»), Кузнецов («Горячий снег»), Княжко и Никитин («Берег»), опалены войной. Именно она принесла им преждевременное мужание, раннюю строгость и сдержанность, сохранив при этом черты, которые так ценили в своих однополчанах и Юрий Бондарев, и капитан Е. Горбунова: неустанное стремление к лучшему, истинному, душевную чистоту и ранимость, готовность принять на себя чужую боль, нестерпимый гнев и страдание при соприкосновении с пошлостью, грубостью, неправдой. И когда перед такими людьми возникала острая необходимость жизненного выбора — они без колебаний избирали следование воинскому долгу, помноженное на гуманизм и благодаря этому многократно усиленное.

«...мне чрезвычайно важно увидеть свой персонаж, — говорил Ю. Бондарев, — в самых сложных, самых драматических обстоятельствах, где нравственные ценности проверяются в предельной обостренности... Мне интересны поступки людей в жгучей накаленности решающих обстоятельств». В своей книге Е. Горбунова очень убедительно и тонко выявляет мастерство писателя, умеющего обнажить характеры в момент самой высокой и тяжелой проверки их на человечность, передать диалектику души, амплитуду чувств в многообразии красок, тонов и полутонов, эмоционально насытить повествование, сочетающее точность деталей с масштабностью развернутых в нем событий. Не случайно рецензенты книги Е. Горбуновой, в частности И. Кондаков, отмечали ее стремление «дойти до самой сути творческого мира писателя, проанализировать его произведения в самых различных

аспектах — социально-историческом, нравственно-философском, стилевом»¹.

И что еще важно — каждое произведение рассматривается ею в едином контексте творческого развития писателя, в неразрывной связи с современным литературным процессом и традициями классической литературы, прежде всего традициями Чехова, Достоевского, Л. Толстого, которые продолжает и развивает в своем творчестве Юрий Бондарев.

Е. Горбунова впервые внимательно и глубоко проанализировала и ранние произведения Ю. Бондарева, увидев в них истоки дальнейших творческих достижений писателя: глубокое знание жизненного материала, «конкретных условий и подробностей, какие нельзя придумать, сидя дома», пристрастную, непримиримую жизненную позицию, всегда нацеленную на выражение нравственного чувства, морально-этическую коллизию, составляющую основу сюжета.

Ирина Богатко в рецензии, опубликованной в журнале «Вопросы литературы», справедливо подчеркнула, что за каждой страницей монографии — «глубокое размышление вдумчивого ученого, активная гражданская позиция кровно заинтересованного в развитии нашей литературы критика, воспринимающего писательское дело как служение делу общенародному»².

Используя разнообразные приемы литературно-критической техники, проявляя незаурядную литературоведческую эрудицию, Е. Горбунова на примере творчества Юрия Бондарева убедительно и логично раскрывает, что подлинно реалистическая и гуманистическая литература не уклоняется от трудных вопросов времени, а мужественно смотрит в глаза правде во имя Человека, добра и справедливости.

Творчество тех, кто пережил войну, на себе испытал ее тяготы, кто на самом пороге судьбы смотрел в глаза смерти, будь то писатели, журналисты, критики или литературоведы, несет в себе опыт поколения, всем существом осознавшего цену Жизни, Правды, Долга, Памяти. Поэтому-то они и приемлют именно такой тип художника, который, говоря

¹ И. Кондаков. Вглядываясь в мир художника. «Наш современник», 1982, № 9, с. 189.

² Н. Богатко. В контексте истории. «Вопросы литературы», 1982, № 11, с. 237—238.

словами Ю. Бондарева, «обнаженными нервами воспринимает чужую боль и подает человечеству сигналы о бедствии и помощи друг другу». С позиций Долга и Памяти создаются свои книги, призывающие к общности и единению людей доброй воли, к миру на всей планете. В полной мере это относится и к выдающемуся советскому писателю Юрию Бондареву, и к исследователю его творчества — Екатерине Горбуновой.



ХРОНИКА

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

ПРАВЛЕНИЕ Союза писателей Грузии приняло решение систематически проводить встречи мастеров художественного слова с тружениками городов, районов и сёл республики.

Актовый зал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института «Автоматпром» в Рустави стал местом встречи известных грузинских литераторов с любителями поэзии.

Гостями руставцев были се-

кретари правления Союза писателей Грузии Дж. Чарквиани и В. Асатиани, поэты Т. Чантурия, Г. Дзnelадзе, Н. Гуришидзе, Э. Квитаишвили, В. Харчилава, С. Нариманидзе.

На литературном вечере выступили и руставские поэтессы Ш. Кванталиани и М. Абрамишвили.

Встрече грузинских литераторов со своеобразным творческим отчетом перед читателями прошла увлекательно и, несомненно, послужила укреплению союза труда и литературы.



Луарсаб ЕГОРОВ

МИР

ДЕРЖИТСЯ

НА МАСТЕРАХ

Я ЛЮБЛЮ бывать у этого человека. Геолог по образованию, художник по призванию. С ним всегда интересно.

— Нет, что ни говори, а мир держится на мастерах,— сказал как-то мой приятель.

— Сейчас все поставлено на поток, — попытался было возразить я.

— Нет. Мастера есть. Они никогда не переведутся, пока люди живут на земле. Вот, к примеру, камень. Может он заговорить?

— Смотря какой камень. Малахит — тоже камень, а говорит. И не только в сказах Бажова.

— Да, когда попадает в руки мастера. Вот ты сказал — все на потоке. Искусство на поток не поставишь. Что же касается говорящих камней, причем я имею в виду не благородный малахит, а обычный булыжник... Погоди, я сейчас...

Он вышел в другую комнату и спустя минуту вернулся с книгой, нарядной, красочно изданной. Он открыл ее и... в глаза мне брызнули яркие, радужные блики каких-то таинственных соцветий.

Краски пели, и не просто, а задорно, выплясывая при этом какой-то искрометный танец.

— Какая прелесть, — невольно вырвалось у меня.

И захотелось поближе познакомиться с человеком, чье творчество так ярко и зримо вобрало в себя и небо, и солнце, и море, и горы, и красоту, и мудрость, и доброту, и темперамент, и национальный колорит.

Помню нашу первую встречу. Он еще не был тогда лауреатом Ленинской премии, не был еще и народным художником СССР, но он уже был мастером. Зрелым, сложившимся, с неповторимым творческим почерком.

Передо мной стоял человек среднего роста, несколько полноватый для своих лет, с добрым лицом и ясной улыбкой.

Он протянул руку и представился:

— Зураб Церетели.

Отвечая на рукопожатие, я почувствовал, что рука у него изранена. Изранена камнями.

Мы сошлись не сразу. Помню, я спросил, как ему удастся заставлять кусочки камней и стекла петь, искрясь и излучая при этом столько солнца, тепла и радости, что у человека непроизвольно рождается ощущение полноты жизни.

Он ответил как-то невнятно, и у меня, грешным делом, создалось впечатление, что художник не понял вопроса. И только позже до меня дошло, что он... Он просто не умеет красиво говорить, но зато он умеет красиво работать.

Для того чтобы понять человека до конца, надо увидеть его именно в деле. За тем, как работает Зураб Церетели, как он, я не побоюсь этого слова, «колдует», вкладывая в маленький камешек свое сердце, как он превращает безжизненные и глухие на первый взгляд предметы в одухотворенный калейдоскоп красок, звуков и ритмов, можно наблюдать часами...

Удивительно устроен человек. Глядя на произведения мастера, он воспринимает его вне связи с тем, сколько бессонных ночей провел творец, в каких муках рождался замысел и сколько труда было вложено, чтобы воплотить его в жизнь, сколько энергии, импровизации и эмоционального накала затрачено на то, чтобы подарить людям радость и красоту.

То, что делает З. Церетели, не только удивляет и восхищает, но и поражает. Поражает солнечностью, жизнелюбием,

темпераментом. Камень, стекло, бетон, сталь оживают в руках художника.

В чем же секрет успеха? Наверное, в том, что творчество его глубоко народно по своим истокам, национально по форме, и в то же время оно зиждется на прочном фундаменте оптимистического мироощущения жизни. Именно этот чудодейственный сплав придает ему интернациональный резонанс, именно он позволяет мастеру завоевывать сердца людей на разных континентах планеты, выполнять почетную миссию полпреда советского изобразительного искусства за рубежом.

И не случайно один из выдающихся художников-монументалистов современности Давид Альфаро Сикейрос сказал о Зурабе Церетели: «Своим творчеством он вышел на поприще искусства будущего. Искусства, в котором скульптура сочетается с живописью».

Соединенные Штаты Америки и Япония, Бразилия и Канада, Франция и Венгрия... Трудно перечислить адреса, где бы Церетели не оставил своего неповторимого художественного росчерка.

Работы грузинского мастера радуют глаз и доставляют эстетическое наслаждение, поражая воображение не только яркой цветовой гаммой, но и безудержной фантазией, внутренней экспрессией и многоплановостью образного решения.

Сколько света источает мозаика, выложенная руками художника в Москве и Ульяновске, в Адлере и Пицунде, в Саирме и Боржоми! А как поет фасад филиала фирмы «Мелодия» в Тбилиси, как водят хоровод причудливые кони на витраже во Дворце культуры профсоюзов в столице Грузии! А мозаичное панно, обрамляющее купольную часть этого здания! Выложенное из небольших кусков смальты, ярко освещенное почти весь день солнцем, оно воспринимается как вытканый на стене красочный ковер.

Первое впечатление от композиции — некоторая беспорядочность в распределении отдельных компонентов — при внимательном рассмотрении быстро исчезает, а пестрота коврового образного решения мозаики, если вдуматься, органически вплетается в общую композицию, где смысловые элементы и формы решения отдельных сюжетных линий носят глубоко символический характер, раскрывая тему величия человеческого бытия, красоты его труда.

Зураб Церетели — человек щедрой души и открытого сердца. Пламенное, полыхающее разноцветье некоторых его монументальных работ порой ошеломляет. Иногда кажется, что художник несколько увлекся и «переложил» краски. Но это... Впрочем, давайте пофантазируем.

Представьте себе, что вы поднялись высоко в горы, где воздух чист и прозрачен. Над головой — синее небо. Вам улыбается солнце, и вдруг неожиданно из-за пригорка выбегает навстречу альпийский луг в пору буйного цветения, искрящийся зеленью и полевыми цветами пестрый живой ковер, успокаивающий и в то же время манящий, пробуждающий трепетные чувства.

Посмотрите, какое сочетание красок — от факельно-алых до нежно-сиреневых, от темно-фиолетовых до оранжево-желтых!

Закройте на миг глаза. Теперь признайтесь — стали бы вы обвинять матушку-природу и корить ее за то, что она предлагает вам такое многоцветье тонов и оттенков.

Нет, конечно, нет. Вот и мозаичные полотна Зураба Церетели следует воспринимать так же. И если вдуматься, в этом нет ничего удивительного. Он сын своей земли, своего народа, он сын Грузии. А Грузия — сказочная страна. Чудесный уголок, где, например, в разгар туристского сезона человек, если он только захочет, может в течение дня побывать во всех четырех временах года: увидеть и лето, и осень, и зиму, и весну. И все за один день. Но ведь такое бывает только в сказке.

Грузия — край цветов и песен, моря и гор. Но главное богатство Грузинской Советской Социалистической Республики — ее люди. Смелые и щедрые, добрые и открытые. А главное — трудолюбивые. И в этом — их главная красота и доблесть.

Последите за сборщицей чая, понаблюдайте, как лелеет лозу виноградарь, посмотрите, как добывают марганец, как варят сталь, как делают электровозы и автомобили, как собирают катера на подводных крыльях, как... Да разве все перечислишь.

Мир держится на Мастерах.

Прав, тысячу раз прав был мой приятель. Да, Зураб Церетели — один из тех, на которых держится мир чувств, человечности, красоты. Он человек, призванный своим ярким талантом и неумным трудолюбием, жадой созидания и

буйным полетом творческой фантазии дарить людям солнечное настроение.

Сейчас, когда всеобщее признание согревает душу и сердце художника, самое время, на мой взгляд, вспомнить, что Зураб Церетели не только монументалист, но и превосходный живописец. Правда, этой гранью своего таланта он делится пока лишь с близкими, друзьями. Широкой общественности Церетели-живописец почти не известен.

Счастливицы, побывавшие в мастерской художника, имеют возможность увидеть изумительные по своему звучанию лирические этюды. Они тоже пронизаны солнцем.

Высокое искусство — удел избранных — утверждали когда-то.

Искусство принадлежит народу — говорим мы сегодня.

Эта емкая ленинская мысль стала у нас основополагающим принципом эстетического отношения искусства к действительности.


Но, как известно, в любом явлении всегда прослеживается закон обратной связи. В данном случае — это отношение народа к людям, которых мы величаем простым, но необыкновенно емким словом Мастер.

Да, Зураб Церетели по праву носит высокое звание народного художника СССР, ибо он Мастер.

А мир держится на Мастерах.

МНЕ вспоминается один случай... Поздней ночью такси везло меня домой. Шел густой снег. Снегопад вызвал в памяти картины далекого прошлого: старый городской район Чугурети, огромное тутовое дерево во дворе дома. Пять человек, взявшись за руки, с трудом могли обхватить его ствол. В тени этого дерева прошло мое детство, а его сладчайшие плоды были первыми моими «фруктами». Както в субботний вечер нового года выпал большой снег. Снегопад начался с наступлением сумерек, и я, истосковавшись по снегу, стоял на нашем балконе с деревянными балясинами и смотрел, как кружащиеся в воздухе снежинки заполняют пространство.

Вдруг окрестности содрогнулись от оглушительного, ужасающего треска. Он был подобен громовому раскату или грохоту обрушившейся лавины. И я увидел, как повалилось тутовое дерево, как легло оно по всему двору, захватив и приречную полосу. Испуганные соседи высыпали на балконы, в смятении наталкиваясь друг на друга — они не знали, что случилось, что послужило причиной столь ужа-

- 
- ДОКУМЕНТЫ
● ПИСЬМА
● ВОСПОМИНАНИЯ

Арчил СУЛАКАУРИ

ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ

●
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
ЭДИШЕРА КИПИАНИ

сающего грохота. Когда первое потрясение прошло, все поспешили во двор и долго смотрели на поверженное дерево. Это было грустное зрелище, и соседи в один голос признались: «Вот не дума-ли, что наше дерево такое большое». А я вдруг почувствовал, что в моей маленькой жизни чему-то очень значительному пришел конец...

Голос шофера такси прервал мои мысли.

— А вы знаете, — говорил он, — я уже привозил вас домой.

— Действительно?

— Да вот дней пятнадцать назад, — продолжал он, — вас было двое в машине...

Сердце вдруг сжалось от боли, я сразу понял, кто был этот второй.

— Я вас подвез, а вы еще долго не выходили из машины, все беседовали... Ваш собеседник так интересно говорил, я сразу понял, необыкновенный он человек. Потом вы попрощались и ушли, а его я повез дальше, если не ошибаюсь, он живет где-то в начале улицы Павлова.

— Да.

— По правде говоря, такого обходительного человека я не встречал, — говорил шофер. — Представьте, он извинился, мы говорим, увлеклись разговором, а вас ждать заставили. Прощаясь, пожелал мне здоровья и благополучия. И руку пожал. Обыкновенные люди так себя не ведут.

Я не сказал шоферу такси, что того человека — Эдишера Кипиани — уже нет в живых. Пусть думает, решил я, что все еще ходит по тбилиским улицам умный, добрый, учтивый человек. Пусть высматривает его в толпе, высокого и красивого, в надежде еще раз встретить и подвезти до дому...

Глядя вслед отъезжающей машине, я подумал, какой же удивительной силой обладал Эдишер, если в несколько минут мог пересадить росток своей доброты в душу незнакомца. Я понял, что шоферу такси навечно было привито эдишеровское благородство, понял и то, что, прощаясь сейчас с шофером, я поступил так, как мог поступить только Эдишер. Удивительно, человек, ушедший от нас, продолжал облагораживать все вокруг, продолжал воспитывать мою душу.

Глядя вслед удаляющейся машине, я думал, счастлив тот, кто еще не слышал звона колокола, призвавшего Эдишера. На какое-то мгновение и мне захотелось поверить, что он сидит в этой машине, отъехавшей от моего дома, и продолжает думать о прерванной только что беседе. Хотя я и знал, что отныне мне од-

ному суждено идти по дороге, по которой мы ежедневно ходили вместе...

В ту ночь шел снег, и я вспомнил поверженное мною дерево назад огромное дерево.

Однажды Эдишер Кипиани как бы между прочим сказал мне: «В грузинских сказках главная тайна или клад хранятся обычно за девятью замками, так и у каждого человека должно быть нечто заветное, недоступное чужому глазу». Когда это говорит друг и к тому же писатель, естественно, подразумевается, что в глубине своей души, за девятью замками, он таит самое сокровенное, и никому не дано проникнуть туда. Теперь, когда прошло столько времени, давайте подберем ключи к той заветной двери с девятью замками, ототрем ее и проникнем в просторы его души. Что за клад хранил в себе Эдишер Кипиани?

Дверь открыта, и перед нами ослепительно, подобно жемчужинам, сверкают благородство, честность, чистота, любовь к ближнему, чуткое отношение к человеку, огромное чувство долга перед страной и своим делом. Ключи, о которых я упомянул, хранятся в рассказах и романах Эдишера Кипиани.

Мне кажется, что Эдишер Кипиани принадлежит к тем писателям, творчество которых невозможно отделить от их личной жизни. Он перенес и утвердил в своем творчестве правила духовной и обыденной своей жизни. Содержание его романов и повестей пронизано его же благородными страстями, нравственной дисциплиной и гражданским сознанием, Эдишер Кипиани утверждал в своих творениях то, что пытался утвердить в жизни своей повседневной деятельностью, боролся с тем, с чем воевал в быту. История литературы сохранила нам имена писателей, личная жизнь которых отличалась от принципов и пафоса их же творчества. Они превращались в грозных преследователей пороков, когда садились за письменный стол. Эдишеру Кипиани было чуждо подобное раздвоение, и не только чуждо, оно было невысказано для него. Вместе с тем этот на редкость тихий, неразговорчивый, скромный человек никому никогда не навязывал своих собственных взглядов и этических норм. Он подавал пример лишь своим безупречным поведением.

Эдишер Кипиани был тбилисцем до мозга костей. Он знал досконально все о родном городе и любил его, можно сказать, скрытой, первой любовью.

Однажды он повел меня на строительство гостиницы «Иверия» и показал дерево, которое архитектор, проектировавший гостиницу, пощадил и оставил жить. Он был на седьмом небе, что дерево удалось спасти. Эдишер родился и вырос в этом районе, и

я только позднее понял, что факту спасения того дерева он придавал гораздо большее значение, чем это казалось на первый взгляд. После завершения строительства гостиницы «Иверия» он написал об этом прекрасную статью, которую опубликовал в «Литератури Сакартвело».

Когда меня познакомили с Эдишером Кипиани, мне показалось, я знал его и раньше, очень давно. Так оно и было. В годы войны, да и после войны в тбилисском оперном театре каждый понедельник устраивались концерты симфонической музыки. Оркестр наполовину был укомплектован из эвакуированных музыкантов высокой квалификации, которыми очень часто руководили известные на всю страну дирижеры. Каждый понедельник театр заполнялся тбилисцами, пропускать эти концерты, представьте, считалось дурным тоном. В один из таких понедельников я впервые увидел Эдишера Кипиани и запомнил его. Позднее, когда мы познакомились и подружились, я понял, что Эдишер посещал эти концерты не ради моды, музыка составляла органическую часть его духовной жизни, точнее, его духовная структура формировалась и совершенствовалась в контакте и внутреннем союзе с музыкой. Он знал наизусть классические симфонии и оперы, и каждая просьба напеть или насвистеть какой-нибудь музыкальный отрывок доставляла ему неизмеримое удовольствие. Любовь к музыке оставила след и в его творчестве, он пытался художественно проанализировать судьбу музыканта, художника вообще, определить его место в нашем обществе («Гобой», «Музыка, призванная в армию», «Музыкальный момент», «Зеленый занавес»). Насколько мне помнится, «Зеленым занавесом» (в образе главного героя здесь выведен замечательный наш актер Ушанги Чхеидзе) очень заинтересовался Симон Чиковани, узнавший себя в одном из эпизодических персонажей. Когда я передал Эдишеру Кипиани мнение Симона Чиковани о его рассказе, он по обыкновению покраснел...

Покраснел не от застенчивости, а от неожиданности сообщенной мной информации и еще оттого, что был удивительно гордым человеком. Я сообщил ему лестный отзыв Симона Чиковани в присутствии посторонних, и это, очевидно, покорило его. Таким образом, в результате своей неосмотрительности я лишил его возможности правильно и искренне прореагировать на оценку его рассказа человеком, мнением которого он очень дорожил.

Мы не только дружили, мы работали вместе в редакции журнала «Мнатоби». Это были самые плодотворные в жизни Эдишера Кипиани годы. Именно в этот период он создал два романа — «Красные облака» и «Шапки, брошенные в небо», принесшие ему

известность как в Грузии, так и за ее пределами. Именно в этих романах проявилась писательская позиция Эдишера Кипиани, его принципы и возможности. Когда я сказал, что Эдишер Кипиани утверждал в своих произведениях то, что пытался утвердить в жизни своей повседневной деятельностью, я имел в виду его романы, хотя его рассказы нравятся мне не меньше.

Огромный вклад внес Эдишер Кипиани и в детскую литературу: «Мяч, у которого потерялся мальчик» — истинный шедевр, вызывающий у читателя светлую печаль и сочувствие. Особенно следует отметить любовь и удивительное отношение Эдишера к детям, что и обусловило его приход в детскую литературу. Кукольный фильм «Девочка и фонтан», созданный по сказке Эдишера, по сей день не сходит с экранов страны.

Помню, он мог часами наблюдать за детскими играми и возней... Как-то на исходе лета мы возвращались из Хевсурети. Уставшие, спустились в Барисахо и остановились там в ожидании машины. В то время автомобильная дорога шла только до Барисахо, качество ее оставляло желать много лучшего, и появление на малоезженной, ухабистой дороге автомобиля считалось чудом.

Солнце припекало. Сидя на пригорке, мы грустно смотрели на Арагви, в которой с криком плескались ребятишки.

— Что может быть лучше этого зрелища, — сказал Эдишер, — я готов сам раздеться и искупаться с ними.

Разумеется, он не разделся и не искупался с детьми, но в течение двух часов неотрывно наблюдал за ними, волновался, смеялся, что-то бормотал про себя, порой делился со мной своими впечатлениями. Я видел, как он пытается угадать характеры детей по их поступкам, движениям, восклицаниям.

Далее события разворачивались несколько иначе.

Машина в Барисахо не поднялась, и мы были вынуждены спускаться пешком. В Магароскари случайно встретили грузовую машину, набитую людьми и тюками с шерстью, вскарабкались на кузов и довольно весело пропутешествовали до Жинвали. В одном месте путь нам преградила отара овец. Машина остановилась. Когда отара прошла, кто-то громко спросил:

— Чьи это овцы?

— Да вот он, пастух, рядом сидит, — был ответ.

Завернувшись в шинель, на тюке с шерстью сидел довольно пожилой небритый мужчина и курил папиросу. У него было суровое, почти грубое выражение лица.

— Слушай, тебе не стыдно, — обратился к нему любознательный пассажир, — так овцам и охрометь недолго!

— А ну их к дьяволу! — сплевывая, ответил пастух.

— Откуда ты?

— Из Душети.

— Нет, брат, никакой ты не пастух. Не любишь своего дела. Такому, как ты, нечего делать с овцами. Займись-ка лучше разведением картофеля.

— Я и сам знаю, что мне делать!

— И эта твоя? — продолжал допытываться любознательный, указывая на брошенную в кузов овцу.

— Моя.

— У нее нога сломана.

— Нога, как же... может и это тоже... — спохабничал пастух.

Тогда зачинатель беседы встал, обеими руками взял животное за спину и поднял над головой. Передняя нога у овцы свисала тряпкой. Только сейчас я разглядел этого человека. Он был намного моложе пастуха, высокий, смуглый, сильный.

Все в машине, затаив дыхание, слушали этот диалог, в том числе я и Эдишер. Наши симпатии, естественно, были на стороне смуглого.

— Наверняка тушин, — шепнул я Эдишеру, — любовь к овцам выдает.

Он улыбнулся в ответ, с сомнением покачал головой: — Ты всегда идеализируешь тушин.

Мы поспорили. Я раздвинул сидящих, подошел к смуглому, сел на тюк и завязал с ним разговор. Он действительно оказался тушином, более того, пришелся мне каким-то дальним родственником. Я встал и вернулся к Эдишеру.

— Ну что скажешь? — спросил я, торжествуя.

Эдишер обнял меня и поцеловал. Он показался мне каким-то особенно счастливым и довольным.

— Если я расскажу об этом в Тбилиси, мне ведь никто не поверит, — сказал я ему.

— Именно поэтому я и люблю жизнь! — ответил Эдишер.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИСТОРИИ

«Обратная перспектива» Ушанги Рижинашвили¹ составлена из повестей и рассказов, написанных в разное время, но представляет нечто единое и целостное. Целостность создается постановкой и решением важнейших вопросов мировоззренческого характера: проблем общественного прогресса и его гуманистического содержания, судеб культуры, диалектики бытия и духа, прошлого, настоящего и будущего, общества, человека и истории, социальной активности и подлинных ценностей человеческой жизни. Сущность этих проблем Рижинашвили воплощает в широком спектре людских судеб, конкретных, наполненных волнующим смыслом ситуаций.

В центре внимания автора оказывается процесс активизации человека в качестве субъекта социально-исторической деятельности, объективный рост масштабов и горизонтов его практики и сознания, заставляющий решать самые общие, предельные вопросы человеческого бытия. Как верно отмечает Ю. Барабаш, «трепетный интерес к внутреннему облику человека в конечном счете... служит

активному утверждению наших коренных мировоззренческих основ, духовных ценностей социума».

Решения мировоззренческих проблем не существует в книге У. Рижинашвили автономно от нравственного и эстетического осмысления действительности. Так, в повести «Решение», всесторонне анализируя духовную жизнь Иорама, автор исследует преобразования, происходящие в нравственном облике человека под влиянием новых жизненных реалий, возникновение ложных и истинных ценностей, губительность нравственных компромиссов. В свою очередь эстетическое, тесно связанное в социальной жизни с нравственным, в творчестве Рижинашвили выступает своеобразной метаценностью, осмысляющей нравственные коллизии, нравственное сознание и поведение человека на своем «языке» — языке особого личностного смысла, языке духовно-эмоциональной выразительности. Писатель и дает такую живую духовную связь в своих повестях и рассказах. В «Доме» он показывает драматизм нравственных поисков Гигло, сравнивающего свою жизнь с жизнью отца, брата и сестры и болезненно переживающего утрату своих культурных корней. Величие совестливости и самоотверженности воплощается в образе старого крестьянина Шахро («Шахро»). Вместе с автором мы открываем скрытую красоту человечности в делах и мыслях носильщика Габо («Любовь»). Очищающий душу трагизм несут в себе жизнь и подвиг Датико («Да-

¹ Рижинашвили У. И. Обратная перспектива, Мерани, Тбилиси, 1983.

тико-банкир»). И по контрасту представляется жалким удел нравственного оппортуниста Валериана Иннокентьевича Пушкарского («ВИП»).

Постигая проблемы человеческого бытия через анализ нравственной стороны жизни человека и его усложнившихся связей с миром, Рижинашвили художественно воспроизводит их прежде всего в мировоззренческом аспекте. В связи с этим мне представляется интересным следующее высказывание Л. Гинзбурга: «Большие темы... не всегда «вечные», но всегда экзистенциальные в том смысле, что они касаются коренных аспектов бытия человека и основных его ценностей...» Мировоззренческое осмысление основных нравственных и эстетических ценностей придает искусству Рижинашвили обобщающе - глубинную философичность.

Остановлюсь для примера на анализе художественного освоения писателем мировоззренческих проблем истории. Рижинашвили стремится соотнести свой личный опыт с историческим опытом народа, личностное прочтение истории связать с художественным анализом движущих сил и законов развития человеческого общества.

История как объект мировоззрения становится у Рижинашвили способом осмысления общих проблем человеческого бытия, соединяющих вчера и сегодня, способом осмысления самоопределения человека, его исторической памяти. Для него характерна необходимость художественной «проверки» историей сегодняшнего дня, о которой писал Ю. Трифонов: «...время беспощадно и могуществен-

но, оно безжалостно высветливает истинную ценность человека. Люди должны помнить об этом всегда, потому что хотим мы этого или нет, вне времени, вне истории не живет ни один из нас. История присутствует в каждом сегодняшнем дне, в судьбе каждого человека».

Целеустремленно решая вопрос об исторической памяти, Рижинашвили дает различные художественные варианты осмысления далекого и близкого прошлого. Основой этого различия становится отношение человека к своему дому, благодаря которому получает своеобразную проверку и истинное освещение вся прожитая человеком жизнь.

Архитектор ВИП, трусливо отказавшийся от борьбы за осуществление проекта своего дома, жил удобной и безмятежной, но пустой, не оставившей следа жизнью, и «тление тронуло смрадным дыханием» оставленные им вещи и само его имя. Полярную оценку получает у писателя жизнь крестьянина Шахро, своими руками построившего дом и оставшегося верным ему, земле, труду и самому себе. Близок к ВИПУ ученый Иорам, поменявший дом на «машину цвета яичного желтка», но уже начинающий сомневаться в истинности избранных им жизненных ценностей. Герой повести «Дом» едет за тысячи километров к дому, которого уже нет, на этом пути обретает полузабытую родную речь, вспоминает лица и судьбы близких ему людей и наконец «отчетливо, до мельчайших подробностей» видит дом, «в котором родился, в котором прошли его детство

и юность, дом из белесого, пористого камня». Бесо из повести «Роды», постоянно возвращаясь к прошлому, восстанавливает в памяти родной дом и «заселяет» его своими предками: «...сидят они рядом, плечом друг к другу, и натруженные, с навечно ввевшимися в ладони землей и железом их руки тянутся друг к другу, и голоса их, согласно сливаясь, негромко выводят «Мравалжамьер», и они освобождены из-под власти забвения, и время не разводит, а соединяет их...»

Показав предельно объективно итоги запоздалого общения с прошлым и как бы «осознав» на горьком опыте героев повестей необходимость более глубокого и постоянного контакта с историей, Рижинашвили в цикле «Рассказы» спешит сохранить и запечатлеть свое отношение к времени. Он скрупулезно и внимательно, по крупницам собирает воспоминания детских лет. В них нет единой канвы, они разрознены, но голос автора, выраженный более четко, чем в повестях, служит конструктивным моментом цикла, действуя по ассоциативному принципу. Единство рассказов «Человек», «Баня», «Хлеб», «Скрипка», «Книги» возникает на основе воспоминаний лирического героя. Голос автора, взаимодействуя с голосами героев других рассказов цикла, становится каркасом, на который лепятся отдельные жизненные фрагменты. Он придает им определенную последовательность, которая создает ассоциативную целостную связь событий и скульптурно осязаемый лик времени.

В цикле «Габо и его рассказы» лирический герой Ри-

жинашвили уже не только и даже не столько вспоминает, сколько наблюдает и слушает. У Тенгиза острый глаз и чуткое ухо, и это дает ему возможность образно воспринимать мир: видеть «нежные стрелы укропа...», узкие язычки тархуна, розовые пяточки редиски, багровые кулаки помидоров, изумрудные рыльца огурцов»; различать в шуме реки голос то «хриплый, с придыханием, то яростный при столкновении с валунами, то шелестящий при свободном и стремительном скольжении». Он внимательно слушает рассказы Габо, пристально всматривается во все происходящее — и в привычном открывается необыкновенное, а через жизнь и судьбы мороженщика Лексо и инвалида Датико просматривается жизнь страны, ее достоверная и реальная история.

Это уже урок читателю, стремление заставить его вглядываться в окружающее, видеть нерасторжимость истории и современности, исповедывать знаменитый пушкинский вывод: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшее, пресмыкаясь перед одним настоящим».

Рижинашвили ненавязчиво и изобретательно, различными образными способами заставляет «уважать прошедшее». Первый из них — это имитация документальной художественной реальности. Уже начало, к примеру, повестей «ВИП» и «Роды» напоминает форму свидетельских показаний: «...Так вот, когда мы встретились с ним впервые, ему было шестьдесят три года»; «Схватки у Нино начались в одиннадцатом часу вечера». Документальная точность позволяет писателю не-

посредственно включить нас в художественную ситуацию, разрушает временную и условную дистанцию, делает читателя очевидцем и свидетелем происходящих сейчас событий.

Характерно также для Рижинашвили стремление максимально приблизиться к жизненным реалиям, фактурно и конкретно воплотить малейшие, тщательно отобранные житейские подробности. Писатель постоянно осмысляет сущность самых обыкновенных событий: продажа дома, поход в баню, покупка хлеба или книг. Он сознательно избегает эффектных сюжетных ходов, из жизненного потока выделяет ничем не примечательных героев. Но его яркое, образное видение «плоти жизни», способность рельефно обрисовать простого человека, отчетливо представить бытовые сцены увлекают читателя на «поиски утраченного времени». Следуя традициям грузинской литературы, восстанавливая и утверждая земное и обыденное ценностью для искусства, Рижинашвили предельно обстоятельно, с преднамеренно приземленными деталями повествует, например, о том, как Элико («Шакро») достает сыр из козьего меха: «Элико с трудом развязала туго закрученный вокруг свернутой шейки меха кожаный ремешок, опустила руки внутрь, на мгновение ощутив неприятное прикосновение к коже просоленной шерсти, вытаскивала норовящую выскользнуть из пальцев надрезанную голову и, стараясь не дышать, отделила от нее ножом кусок. Потом опять уложила сыр во всплинувший рассол,

скрутила шейку меха и изо всех сил затянула ремешок».

Подобная «кристаллизация» художественной реальности из емких, ощутимых и запоминающихся деталей делает обычное эстетически значимым, позволяет точнее и зримее представить бытовую и бытийственный уровень истории и тем самым приблизить к ней читателя.

Выполнению этой задачи служит и лироэпический характер прозы Рижинашвили (как поэт, Рижинашвили реализовал себя в сборниках «Три солнца» и «Зрение»). С помощью многозначных поэтических образов читатель легко входит в узнаваемый художественный мир Рижинашвили, сознавая общность мировоззренческих ценностей и ощущая единство в понимании таких слов, как «дом», «культурные корни» и т. п. Метафорическая проза («поезд пронесся мимо невидимых полустанков, сцепляя, сшивая своим движением темноту и резкие, неяркие огни») дает читателю возможность сотворчества и свободного выбора при построении своего варианта воспроизведенной писателем действительности.

Но Рижинашвили предлагает читателю и более определенные эпические образы действительности. Как архитектор, заинтересованный в построении здания в соответствии с замыслом и общим планом, он формирует основные, несущие главный смысл «строительные блоки» предельно детально. Уточняя значение слова рядом конкретных определений, он обращается с ним осторожно, как держит пенца на ладони, бережно, как ласкают лозу. По-

этому песня у него может быть «затейливая, ладная, негромкая», а взгляд — «требовательный, укоряющий, саркастический».

Этими эмоциональными под- сказками писатель диктует свою волю, втягивает читателя в свой мир, делает конкретную и «осязаемой» бытовую сторону жизни человека. Одновременно в книге Ушанги Рижинашвили воспро-

изводится убедительная достоверная картина «внедрения» человека в историю, сложный процесс осознания сознанием человека общественных мировоззренческих ценностей, которые могут стать принципами и достоянием индивидуального мировоззрения только как лично выстраданные истины.

Владимир ХАРИТОНОВ



НЕОБХОДИМОСТЬ ДИАЛЕКТИКИ

«Необходимость диалектики» — это название книги ученого, критика, публициста Юрия Суровцева нацелено четко и объемно. И сразу в скобках пояснение — «К методологии изучения интернационального единства советской литературы»¹. Вчитываясь в отдельные главы этой крупномасштабной литературоведческой книги, над которой автор работал пятнадцать лет, осознаешь, какие глубинные пласты идейно-эстетического своеобразия многонациональной советской литературы подняты в ней.

Еще в постановлении ЦК КПСС «О литературно - ху-

дожественной критике» говорилось о необходимости объединения сил квалифицированных ученых-историков и теоретиков литературы, публицистов, критиков, эстетиков и социологов для обобщения художественного опыта нашей многонациональной культуры, исследования социалистического реализма во всем многообразии национальных художественных форм, складывающихся в определенных национально - исторических условиях, его разнообразнейших стилевых и формообразующих возможностей.

Надо сразу же отметить, что концептуальный, остропроблемный, многослойный труд Ю. Суровцева, объединенный, несмотря на кажущуюся на первый взгляд жанровую «многоэтажность» композиции, последовательно логическим развитием мысли, отвечает насущным требованиям партии и времени, является ценным пособием для верного понимания особенностей литературного процесса как в Со-

¹ Юрий Суровцев. Необходимость диалектики, М., «Художественная литература», 1982.

ветском Союзе, так и за рубежом, характера общественно - эстетической борьбы в мировом масштабе.

Начнем с главного — за что эмоционально, полемично, научно выверенно борется автор? За подлинную марксистско-ленинскую методологию критики, методологию художественного мышления, за четкость ленинских идейно - эстетических критериев в литературоведении и критике. Отсюда в первых главах книги — «Великая сила ленинской диалектики», «В. И. Ленин о «двух культурах» в национальной культуре» — Ю. Суровцев многоаспектно и перспективно исследует значение основополагающих мыслей В. И. Ленина для развития современной литературы, литературоведения, критики. При этом характерная структурная особенность книги — автокомментарий к каждой главе, озаглавленный «Из опыта семидесятых», своеобразный трамплин от теории к непосредственному анализу художественных достижений, а также просчетов нашей литературы.

Ленинский принцип конкретного историзма («Диалектика требует всестороннего учета соотношений в их конкретном развитии, а не выдергивания кусочка одного, кусочка другого»¹) позволяет автору, с одной стороны, заострить вопрос о роли научной методологии, идеологической природы искусства в противовес всем адептам «контркультуры» — «электронной», «конвергентной» или «коммуникационной» — от патентованных советологов

американского калибра до ревизионистов правого и левого толка. С другой стороны, системное применение конкретного принципа конкретного историзма дает возможность Ю. Суровцеву рельефно показать различие между Лениным и Плехановым в методологическом подходе к Л. Н. Толстому, вскрыть подмену понятий в интерпретации некоторыми современными критиками наследия Достоевского и Тютчева, переацентрировку опыта революционно - демократической критики, как это недавно проявилось в книгах о Н. В. Гоголе, А. Н. Островском, И. А. Гончарове серии «ЖЗЛ». Таким образом, ленинское учение о «двух культурах» в национальной культуре в концептуальном и системном изложении автора выявляет для читателя закономерность духовного, культурного развития человечества, актуальность вечно живого ленинского наследия для наших дней.

Ключевая сердцевина книги — взаимоотношение интернационального и национального в художественной культуре — высвечивается Ю. Суровцевым в главах «Национальный характер и национальное своеобразие искусства», «К проблемам интернационализации в художественной культуре», «Позавчера, вчера, сегодня», «Стилевые течения и национальные стили в советской литературе» опять-таки многоаспектно, концептуально, при строгом соблюдении диалектико - материалистического, системного подхода к художественной культуре, ленинского принципа конкретного историзма. При этом ценно,

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, с. 286.

что и категория стиля не рассматривается автономно, изолированно от метода, жанра, компонентов формы, а в органичном взаимодействии с ними. Как известно, гениальный зодчий социалистической культуры впервые в истории поставил закономерности мирового прогресса XX века в прямую зависимость от пробуждения сознания народных масс, вовлечения их в сознательное творчество новой жизни, приобщения национальных культур к самым значительным завоеваниям нашего века. В. И. Ленин предвидел, что развитие социалистических отношений не означает упразднения национальной самобытности советских народов. Не утрачивая своей национальной самобытности, национальные культуры одновременно выступают как культуры интернациональные по своему духу, по нравственным и социальным устремлениям. Следовательно, социализм и национальное возрождение неразделимы. Социализм дает верное направление национальной культуре, формирует в ней те черты, которые делают ее национальной и общечеловеческой одновременно, позволяет достичь вершин художественного творчества и оказать благотворное влияние на возникновение «второй культуры» — демократических и социалистических элементов в капиталистических странах (об этом симптоматичном явлении см. в статье американского критика Гейлорда Лероя и Урсулы Бейтц (ГДР) «Сознательная направленность в развитии культуры»).

Категорически отрекаясь от терминологической нечеткости, остро, полемично, прин-

ципально Ю. Суровцев до-казывает подлинно демократическую и глубоко сознательную основу процесса интернационализации в многонациональной советской литературе, что совсем недавно он опять-таки сформулировал в статье «По заветам Горького, в традициях Первого съезда»: «Двуединный процесс — с единения социалистических и общедемократических тенденций художественной культуры и подъема вторых до социалистически осознанного уровня, т. е. социалистический демократизм как широкая и определенная база развития советской литературы, этот процесс оказался закономерным и обязательным... в истории развития всех национальных литератур нашей страны — очень разных по генезису, типу, предшествующему художественному опыту» («Литературная газета», 12/XI-1984 г.). Вообще способность концептуально мыслить, полемизировать со своими противниками, доходя до высоты публицистического накала, отчеканить свою мысль до уровня чисто новаторских формулировок — характерная особенность автора как ученого и критика. Возьмем хотя бы его возражения против трактовки национального характера как арифметического конгломерата определенных национальных черт или теории «ускоренного развития» литературы, наконец, кардинальное положение о взаимодействии интернационального и национального: «Понятия «интернационального» и «национального» по своему содержанию социальные; ...в развитом социалистическом обществе интернациональное практически всецело

является социалистическим; в национальном же социалистическом является не только ведущим (оно было таким с Октября 1917 года!), но и явно доминирующим...» (стр. 328—329).

Вот эта социальность понимания категорий «интернационального» и «национального» позволяет Ю. Суровцеву видеть в определении «интернационального» как ограничивающей константы в искусстве отступление от марксистско - ленинской постановки вопроса. В свою очередь, он новаторски предлагает при ценностном анализе «интернационального» и «национального» учитывать классово - идеологический момент и, продолжая ленинскую мысль в работах по национальному вопросу о двух тенденциях, говорит о закономерностях современного этапа мирового литературного процесса: «Тенденция расширения спектра национально - самобытных культур, тенденция все усиливающегося многообразия интернационализации сталкивается с тенденцией космополитической нивелировки, которую навязывает миру господствующая буржуазная культура позднего капитализма...» (стр. 301). Отсюда логически правомерно Ю. Суровцев видит, что социалистический интернационализм — гарант и расцвета национальных культур и их сближения — всецело содействует «развивающемуся единству нашей литературы». Очень интересна, хотя и не бесспорна по глубине поднятого материала из истории испанского, польского классицизма, французского и немецкого романтизма, английского и французского реализма подглава «Что же та-

кое «ускоренное развитие литературы», требующая от исследователя снова «во весь голос» заявить, что категория социальности — это критерий истины, и эта практикующаяся в нашем литературоведении теория нуждается в уточнении в свете ленинского учения о неравномерности общественно-го развития.

В последней главе книги Ю. Суровцев снова от теоретических посылок обращается к непосредственному анализу «инструментария» художественной формы нашей литературы — к категориям стиля и жанра, к прочно утвердившимся в науке о литературе и критике за последние годы терминам «стилевые течения», «национальный стиль», «идейно - художественное течение». На большом художественном материале закавказских, прибалтийских, украинских, среднеазиатских литератур автор доказывает невозможность схоластической подмены понятий, внесоциального моделирования общепринятой литературоведческой терминологии. Например, нельзя отождествлять понятия «стилевое течение» и «идейно-художественное течение». Нужно конкретно учитывать, что национальным стилевое течение становится тогда, когда в его русле создаются произведения, «воздействующие так или иначе на всю данную область национального искусства определенного исторического периода». Поэтому при анализе, имеющем целью показать, достигаем ли то или иное стиливое течение уровня национального значения, «синхронный «срез» должен быть обязательно объединен с анализом исторической динами-

ки». И вот уже от первых критических замечаний Ю. Суровцев согласно специфике своего художественного мышления приходит к закономерности творческого многообразия в социалистическом искусстве: «Одно из его ярчайших проявлений — «количественное» увеличение стилизованных течений, в том числе и тех, которые достигают уровня национального значения, эстетическая перестройка, реформирование структуры стилей в национальном искусстве» (стр. 457).

Несомненно, что плодотворными для нашей критики являются и замечания Ю. Суровцева о внутреннем взаимодействии метода, стиля, жанра в литературах братских народов СССР, и его прямой призыв к мастерам критического цеха — «...установление и «прощупывание» все более усложняющимся набором инструментов связей внутри триединства «время — писатель — стиль». Одна из его конкретизаций: жизненный материал — художественный замысел — стиливая доминанта» (стр. 522).

Труд Ю. Суровцева разрешает одну из сложнейших проблем современного литературоведения (методологию интернационального изучения советской литературы), на карте которого много неисследованных «белых пятен», при этом неуклонно соблюдена строгая диалектика, ленинский принцип конкретного историзма, четкая социальность. Безусловно, что в такой концептуальной книге не все равно-

мерно, например, издержки полемики, рабочие, не бесспорные гипотезы (как отождествление понятий «социалистическая литература» и «социалистический реализм»), хотя можно только сожалеть, что в книгу не включены известные «Полемические маргиналии», отличающиеся блестящим публицистическим пафосом. Иногда это отдельные живые замечания в последней главе книги, не подтвержденные, как обычно свойственно автору, конкретным анализом. Но в основном с удовлетворением можно констатировать, что публикация пятнадцатилетних раздумий Ю. Суровцева о многонациональной советской литературе в аспекте ленинской методологии — красноречивое свидетельство победы подлинного историзма, диалектико-материалистического подхода к художественной культуре, попытка преодоления разрыва между литературоведением, идущим по следам сложившихся традиций, и критикой, эмпирически откликающейся на побег времени. Будем надеяться, что и впредь проблемы интернационального единства советской литературы во второй половине 80-х годов будут исследоваться советскими учеными и литературоведами стран социалистического содружества объемно, масштабно и перспективно во всей реальной конкретности взаимодействия и взаимообогащения литератур 78 наций и народностей Советского Союза.

Татьяна ШАРОВА

КИНОРЕЖИССЕР Эльдар Шенгелая знаком зрителю как автор фильмов «Микела», «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Мачеха Саманишвили» и других. И вот новая его работа — «Голубые горы, или Невероятная история».

Фабула фильма такова: в некое творческое учреждение автор приносит свое произведение под названием «Голубые горы, или Тянь-Шань»; год спустя его обсуждают и принимают к печати, хотя ни один из сотрудников рукопись не читал и более того — уже не прочтет, так как все экземпляры, как выясняется, утеряны.

Столь парадоксальная ситуация изображается в форме кинопараболы; в основе этой басни, этой фантастической истории лежит самая реальная действительность.

На экране — учреждение, которое более всего напоминает убежище для сбившихся с пути: здесь укрылись люди, бежавшие от самих себя, чуждые всем и вся и деятельно занятые монотонным бездельем. Они играют в шахматы, собирают урожай винограда, один учит французский язык при помощи пластинок, другой варит яйца, третий ведет беспочвенные споры, но исполнением своих служебных

Натия АМИРЭДЖИБИ

«ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ»

обязанностей, заключающихся в чтении рукописей, не занимается никто. Захваченные инерцией повседневности, эти люди живут вне каких-либо общих интересов, они чужие друг другу, а некоторые сотрудники вообще незнакомы.

Мы видим на экране членов «коллектива», состоящего из случайных, ничем не связанных друг с другом персонажей, чей инертно-индифферентный «духовный пейзаж» мастерски освещают Эльдар Шенгелая и Резо Чейшвили. Все они нашли убежище в чужом им доме, попытались приспособиться к чуждым функциям, однако им не удалось побороть в самих себе остатки собственных внутренних потребностей, которые не дают им покоя. Эти люди призваны реализовать себя на совершенно ином поприще, поэтому между действительностью и несуразностью их занятий возникает противоречие, доходящее до абсурда.

Заместитель директора (его роль исполняет непрофессиональный актер, врач Михаил Кикодзе), не утративший еще ощущения своего родства с природой, решает устроить сбор винограда. «Ртвели» происходит в грязном, узком углу двора, в мизерном пространстве между лестницей и подвалом, куда из лопнувшей трубы низвергаются потоки горячей воды, окутывая все клубами пара, в которых, тем не менее, можно разглядеть сваленные грудой греческие скульптуры, кипы бумаги и всевозможный мусор. Лозы не видно, из-за тесноты ее подняли куда-то вверх, и оттуда кто-то спускает целлофановый пакет с двумя-тремя созревшими гроздьями.

Механическое перенесение деревенского пейзажа и «сельских радостей» в урбанистические условия прекрасно объясняет раздвоение этого человека, расчленение его интересов, отсутствие какой бы то ни было целеустремленности. Жизнь человека лишена смысла, так как ему не удастся полностью реализовать себя. Он — сельский житель с ног до головы, душа его там, в деревне, физически же он функционирует в городском учреждении.

Абсурдное занятие, именуемое сбором винограда, запечатлено оператором Леваном Пааташвили с присущей ему точностью светового решения. Выхваченные камерой предметы, выразительность каждой детали создают картину апофеоза бессмыслицы и нелепости.

В том же двойственном аспекте показан на экране женский персонал: женщины не могут до конца отрешиться от извечных своих материнских, семейных инстинктов, они раз-

рываюся между семьей и службой, в результате ребенок об-
тается, в сущности, без матери, а учреждение — без «цитат-
ной единицы». Одна из сотрудниц (артистка Д. Сумба^{216 493 539 220}
ли) занимается с дочкой немецким языком и одновременно
варит кофе, другая примеряет платье, третья собирает рас-
сыпавшиеся бусины, одним словом, каждая из них по воз-
можности занимается в стенах учреждения домашними дела-
ми.

Абсурд обретает значение параболической метафоры,
когда в творческое учреждение устраивается на работу марк-
шейдер (эту роль колоритно исполняет артист Иванэ Саква-
релидзе), который вместо чтения рукописей изучает сейсми-
ческие карты и добросовестно пытается установить причины
колебаний почвы и появления трещин на стенах и потолках
учреждения.

Абсурден и бесконечный «бунт» старого сотрудника Васо
Чорголашвили (артист В. Кахнашвили) против картины, ви-
сящей на стене в его кабинете, и уж тем более абсурдны
его яростные прения с завхозом Гришей (его роль исполняет
непрофессиональный актер В. Мезвришвили), который с
бюрократической тупостью требует рассмотрения вопроса о
картине в соответствующих инстанциях. Показ многократных
столкновений Васо с Гришей является художественным прие-
мом, при помощи которого заостряется и доводится до край-
ности абсурдность ситуации.

Несуразности существования персонажей авторы филь-
ма придают, так сказать, вещественное обрамление, которое,
в свою очередь, имеет и переносный смысл. Например, в
творческом учреждении оказывается большое количество мед-
ного купороса, назначение которого никому не известно. Яс-
но одно — его должны были отправить в другое место, и
лишь совершенно случайно попал он в литературный мир.
Тем не менее его помещают в подвал, дабы он «не утратил
своего прекрасного цвета».

Общение людей с неодушевленными предметами и друг
с другом воплощается на экране с одинаковой индифферент-
ностью. В своем учреждении они не испытывают друг к дру-
гу ни любви, ни ненависти; их отношения ни «жарки», ни «хо-
лодны», они влачат бессмысленное, «еле теплое» существо-
вание. В основе этой бессмыслицы лежит всеобщее рав-
нодушие. В данном же случае исполнение служебных обязан-
ностей дало бы им повод проявить душевную теплоту и со-
чувствие: сотрудники должны прочесть произведение своего

приятеля Сосо, обсудить это произведение и принять его либо отвергнуть. Это уже диалог с представителем внешнего мира, но сотрудники оказываются неспособными к такому диалогу, они не в состоянии разбить собственную скорлупу, выглянуть наружу, увидеть что-то новое, воспринять иную жизнь — для этого необходимы душевные силы, которыми они не обладают.

Директор (роль которого исполняет врач Т. Чиргадзе) представляет собою обобщенный, символический образ этих людей. Это замороженный суетой, отупевший от повседневной инерции, рассеянный до крайности человек; из-за необходимости вечно присутствовать на банкетах, встречах, совещаниях и беготни по разным «делам» у него нет времени, чтобы остаться наедине с собой, задуматься, проанализировать ситуации и события, собраться с мыслями, обдумать свое отношение к тем или иным явлениям. Он не в состоянии выслушать другого, неспособен к беседе; между тем человек постигает себя именно в контексте общения с другими людьми.

Поскольку жизнь человека есть существование в мире, постольку человек, ощущая и переживая собственное существование, тем самым ощущает и переживает также и окружающий его мир. Человек живет постольку, поскольку он способен чувствовать и переживать; если же он не чувствует и не переживает, то он не живет, а лишь существует на манер неодушевленного предмета.

Такой вывод можно с полным основанием отнести к герою Т. Чиргадзе, который совершенно утратил способность к переживанию и сопереживанию.

«Я уже три года словно в вакууме», — объясняет Сосо (артист Р. Гиоргобиани) свою растерянность. «В чем?» — переспрашивает погруженный в свои мысли директор, что-то отмечая в блокноте. «В пустоте», — отвечает Сосо, но тщетно... «Отлично... Значит, в пустоте», — машинально повторяет директор, размышляя, судя по всему, об успешном завершении какого-то другого дела. Тут же директор рассеянно отвечает на телефонный звонок. Услыхав голос невидимого собеседника он слушает его в почтительной позе. Повесив трубку, он немедленно нажмет кнопку, вызовет шофера, похлопает себя по карманам, извинится и стрелой умчится на очередное или внеочередное мероприятие.

Умчится, так и не поняв, чего хочет Сосо, не увидев его.

грустных глаз, — какое уж тут сочувствие. На экране прикрытое вежливостью равнодушие.

Чиргадзе играет роль директора в двух аспектах: внешняя любезность маскирует его истинную суть. Он даже демократичен, благосклонно отмахиваясь своим вечным «очень хорошо» от непрочитанного произведения; в этом с ним согласны все сотрудники, и не потому, что заискивают перед директором, а потому, что никто из них тоже не читал... Произведение утверждают без поправок, потому что поправки могут обидеть автора; кроме того, поправки требуют обоснования, которое, в свою очередь, требует прочтения. Никто не желает нарушить привычный ритм жизни, никому не хочется стряхнуть с себя эту «благодать». Поэтому коллектив пребывает в добром согласии с директором, а директор — в добром согласии с коллективом. Под безмятежностью этого инертно-индифферентного бытия и взаимной любезности таится самый страшный из человеческих пороков — безразличие, которое стирает в порошок человеческую личность.

В качестве метафоры этого разрушения Резо Чейшвили и Эльдар Шенгелая используют гротесковый прием, придающий фильму элемент фантастики: здание учреждения разваливается, рушатся стены, потолки, и это звучит как предупреждение.

Разрушение стен как метод параболической метафоры использовал Федерико Феллини в «Репетиции оркестра». Этот фильм также посвящен людям творческим. Музыканты не желают играть бесплатно. Художественное развитие каждого образа логически приводит к апогею — разрушению. Честолюбие людей, их расчетливость, практицизм, цинизм, высокомерие по отношению к истории и культуре прошлого — все это завершается вполне закономерной катастрофой: стены обрушиваются им на голову. То есть нравственная катастрофа неминуемо влечет за собой катастрофу физическую.

Авторы фильма «Голубые горы...» в качестве средства параболической гиперболы используют повтор. На экране последовательно сменяются все четыре времени года, и в каждом из них повторяется все то же «деятельное безделье» сотрудников, все те же диалоги, те же мизансцены. Каждое время года сопровождается одна и та же музыкальная тема и панорама города, снятая с одной и той же точки. Повторяющийся видовой и звуковой материал создает такое ясное настроение беспросветной скуки, что зритель словно на себе испытывает этот феномен (это, разумеется, не относится к

восприятию фильма!). Мастерский монтаж помог Эльдару Шенгелая добиться благодаря повторам максимального единства происходящего на экране со зрительным залом.

Внешние детали, предметный мир режиссер превращает в лейтмотив фильма и сообщает ему усиленную динамику «крещендо»: в начале фильма застрявший между этажами лифт еще можно было пустить, ударом кулака заставив электрореле включиться. С течением времени эта энергичная мера уже не помогает, и застрявший в лифте Чорголашвили вынужден от нечего делать прочитать хоть какую-то часть обсуждаемой рукописи. Так же обстоит дело и с разрушением здания: в первых кадрах фильма мы видим на рабочем столе Чорголашвили лишь крошки осыпающейся с потолка штукатурки; далее количество этих крошек увеличивается, на директорском столе штукатурки уже значительно больше. В конце концов здание рушится.

Видимый мир фильма, его «внешняя» логика подводит его к физической катастрофе; параллельно логика «глубинная» раскрывает перед нами индифферентное существование людей под инерцией повседневности, их раздвоенность, рассеянность, скуку, нелепость их действий, таящиеся под маской любезности фарисейство и равнодушие. В самом деле, равнодушие — одно из отвратительнейших выражений человеческого вырождения, однако, что за ним последует, какого рода духовная деформация, в какую злую силу оно оформится, выразить это в фильме не удалось, и это притупляет художественную остроту экранных образов. Между тем жанр кинопараболы и сам лейтмотив фильма требовали показа этого перехода. В фильме рушится только вещественный мир — и на экране это выглядит как пророчество; по отношению же к персонажам авторы фильма проявили странное мягкосердечие.

Тем не менее художественная задача, которую ставили перед собой Резо Чейшвили и Эльдар Шенгелая, решена ими талантливо и с блеском. В создании этой остроумной, сатирико-гротесковой комедии большая заслуга принадлежит также «звуко-видовому» дуэту — одному из наиболее талантливых современных операторов Левану Пааташвили и не менее замечательному композитору Гие Канчели, увертюра которого своим настроением словно заранее вводит нас в мир фильма. Проникнувшись идеей авторов, оба художника создают атмосферу картины, один — при помощи музыкальной темы, другой — устанавливая кинокамеру в самой удачной

точке, в соответствии с художественным замыслом, запечатле-
вая на пленке портреты скучающих, случайных людей, что
их окружает.

Наконец, невозможно не выразить восхищения слажен-
ностью исполнительского состава картины, в котором объе-
динились актеры театра, киноактеры и непрофессиональные
актеры. Эльдар Шенгелая прочно сцементировал этот коллек-
тив, заставив всех играть в одной манере. Нигде не чувству-
ется различие стилей, жанровой специфики актерской игры
в театре и в кино; каждый исполнитель прекрасно чувствует
самобытную природу кино и выражает собственную индиви-
дуальность на высокохудожественном уровне.

В первую очередь хочется выделить игру крупнейшего
мастера грузинской сцены и кино Сесилии Такайшвили. Она
подобно сказочной волшебнице своим чудесным талантом за-
ставляет зрителя смеяться, удивляться, восхищаться. Сесилия
Такайшвили в равной степени была одарена чувством сцены и
экрана, на обоих поприщах она достигала выдающихся успе-
хов, а это — удел избранных.

Среди «непрофессионалов» особенно примечателен ис-
полнитель роли директора Теймураз Чиргадзе. Тем, кто его
знает, ясно, что он — прирожденный актер; артистизм про-
является во всем облике этого человека: в пластике рук, вы-
разительных глазах, великолепном тембре голоса, музыкаль-
ном слухе, дикции, а также в его необычайном остроумии.
Выявление возможностей непрофессионального актера в
большой степени зависело от режиссера. Эльдар Шенгелая
использовал из «фондов» художественных возможностей
Т. Чиргадзе лишь то, что требовалось для роли директора;
многое из этих «фондов» осталось неиспользованным, одна-
ко творческий инстинкт и чувство меры подсказали режис-
серу, что новые краски могут испортить образ.


Рамаз Гиоргобиани, исполнитель роли Сосо, — профес-
сиональный киноактер (его вторая специальность — киноре-
жиссура). Его герой в конце фильма разительно отличается
от того, каким он был в начале: в первых эпизодах он роб-
ко просит сотрудников прочитать его произведение. Впослед-
ствии, так ничего и не добившись, он почти совсем переста-
ет разговаривать, однако, глаза его говорят о многом — об
удивлении, разочаровании, гневе. Он задумывается о челове-
ческом равнодушии...

В небольшой статье невозможно сказать обо всех ис-
полнителях, хотя каждый, кто снялся в новом фильме Эль-

дара Шенгелая, достоин отдельного разговора. Даже эпизодические персонажи обогатили картину своими штрихами, осветили экран своими «лучиками». Кто — острой характерной выразительностью (Г. Петриашвили), кто — изображением идиотской увлеченности (Г. Нацвлишвили), кто — комической игрой «в серьезного человека» (О. Моташвили), — все они вызывают немедленную реакцию зрительного зала.

Актеры вместе с постановщиками фильма с комедийной легкостью играют веселые маски, за которыми скрываются пустые, равнодушные персонажи. Наличие этих двух планов характерно для кинопараболы, когда обыденность легко и естественно переплетается с фантастикой и абсурдом, а художественный символ дан в комбинации с аллегорией.

Почти невероятно, чтобы человек не почувствовал своего призвания, не понял, чего требует его душа, свернул со своего жизненного пути, изменил собственной сущности и растворился в бессмысленной чепухе. Не умея справиться с собственными мыслями, он не сможет воспринять и другого человека, он не в состоянии выслушать собеседника, поэтому-то и к сочувствию неспособен. Почти невероятно — однако экран заставляет нас поверить в это, настолько талантливо, высокохудожественно, с тонким и изящным вкусом сделан фильм. Перед нами словно фестиваль талантов, устройтелем и вдохновителем которого стал Эльдар Шенгелая.



ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

В АРХИВЕ заслуженного художника ГССР Петра Михайловича Блеткина мое внимание привлекли письма С. Кобуладзе и А. Бажбеука-Меликова. Вот выписки из них:

«Я в первый раз испытываю удовольствие выразить коллеге свое восхищение»...

«Этой работой, дорогой мой, я восхищен».

Два почти идентичных высказывания двух разных художников... А речь идет о работах П. М. Блеткина, с первой персональной выставкой которого, столь щедро раскрывающей мир художника, познакомились недавно тбилисцы. Хотя П. М. Блеткин участвовал во многих республиканских, союзных и зарубежных выставках, персональная выставка дала возможность зрителям шире познакомиться с его творчеством.

Ученик таких мастеров, как Лансере, Шарлемань, Татевосян, Шмерлинг, Петр Михайлович Блеткин уже в студенческие годы работал в оперном театре как театральный художник. Однако работа театрального художника не оказалась его призванием, хотя несколько лет после окончания академии он все же отдал оперному театру.

В студенческие же годы Петр Михайлович объездил всю Грузию. Он полюбил ее сыновней любовью и в течение всей своей жизни воспеваеет ее красоту. Так, пейзажи Кахети вместили в себя красоту и богатство этого благодатного уголка Грузии, его успокаивающие дали и бескрайнее небо — то сиреневое, то голубое, то золотистое...

Интересны живописные работы Петра Михайловича, посвященные Тбилиси. С этнографической точностью рисует он

утоллки старого города. Картины Блеткина воскрешают то, что уже не сохранилось в городе, «Старый Метехский мост» запечатлен художником на трех картинах. «Вид на Авлабар из моего дома» показывает старый район Тбилиси таким, каким его уже никто не видит. «Тбилиси, ноябрь», «Набережная, 8 марта», «Мой двор» (Пески) — это все драгоценные крупинки старого Тбилиси, повествующие нашим потомкам историю нашего города. Да, в таких картинах художник Блеткин предстанет перед нами и историком города. Небезынтересно, что во время болезни он создал целую серию пейзажей Сабуртало, раскрывающихся из окон его квартиры.

К пейзажу и портрету у П. М. Блеткина особое отношение. Есть у него и излюбленные темы. В пейзажах — это пейзажи Кахети, Тбилиси, в портретной живописи — портреты жены, автопортреты, портреты сестры жены — художницы В. Петровой, портрет Танюши, которая из малышки с бантами вырастает на наших глазах во взрослую девушку.

В портретной живописи проявляется вкус и чувство меры художника в отношении колорита. Нейтральные фоны не отвлекают внимания от главного — психологический характеристики портрета. Величественное спокойствие портретов создается безукоризненно найденной цветовой гаммой.

В живописных портретах 30-40-х годов П. М. Блеткин особое внимание уделяет свету. В отличие от его современников, он осознанно ставит перед собой задачу света, как теплого, так и холодного («живопись — это всегда золото или серебро»). Проблема теплого тона (связанного с интерьерным освещением) четко прослеживается в автопортретах, в таких работах, как «Портрет Джики», «Марго», «Сидящая в накинутом пальто», «Портрет художницы В. Петровой».

Прозрачными, легкими голубыми тенями, предельно высокой тональностью отмечены работы «Ню», «Спящая», «Лежащая».

В «Ню» мазок перестает служить воссозданию конкретного образа и становится самостоятельным средством достижения живописной поверхности фактуры произведения. Этот подход к трактовке поверхности картины получает полное звучание в так называемых театральных композициях и пейзажах, сложная структура которых строится пульсирующей тональностью низких и высоких тонов.

Артистичность мазка достигает виртуозности в портрете «Девушка с поднятыми руками». Вспоминается легкость и ма-



«Нам нужен мир»

стерство лучших произведений станковой живописи. Сама композиция портрета строится на двух-трех локальных пятнах. Простота средств, которыми художник добивается максимальной цветовой выразительности, приобщает нас к техническим тайнам старых мастеров.

Зеленовато-коричневый цвет фона, который подчеркивает тончайшее напряжение красного тона на блузке девушки, нюансируется контрастом золотистых и красно-фиолетовых мазков. Прозрачно-плотная нижняя теневая часть картины особенно рельефно выделяет мягкость света на груди и руках девушки, а задний зеленовато-коричневый фон балансирует эту рельефность.

Когда художник добивается прозрачной, глубокой поверхности в низких цветовых тональных регистрах, он противо-

поставляет им отдельные темпераментные мазки более высоких тонов, достигая воздушности и вибрации живописного слоя.

Мировосприятие П. М. Блеткина не замыкается ни в какие рамки, оно очень богато ассоциациями, восприятиями, реализация которых не представляет трудностей для такого мастера.

За свою большую творческую жизнь Петр Михайлович Блеткин накопил колоссальный опыт и огромный арсенал живописных средств. Он впитал в себя много художественных течений и школ, сумел отобрать и творчески освоить то, что ему было близко. И все эти ценности он сохраняет по сей день. К каждой новой работе он умеет подобрать подходящий живописный язык.

В наследии художника мы встречаем работы, исполненные то в яркой манере с сопоставлением больших локальных цветовых пятен, где сохраняется задача плотности живописной поверхности, то более традиционную тональную гамму, строящуюся на тонких валёрных градациях, то мягкую живописную форму, когда форма как бы поглощается цветом, мазком, то четкую линейную ритмику экспрессивной, выразительной деформации формы.

Петр Михайлович Блеткин прекрасно владеет техникой живописи и графики, но в любом случае он сохраняет свое творческое лицо — лицо большого мастера-живописца.



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ИРАКЛИЮ Абашидзе исполнилось 75 лет.

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Э. А. Шеварднадзе посетил Героя Социалистического Труда, лауреата премии имени Шота Руставели и имени Дж. Неру, поэта-академика И. Абашидзе и тепло поздравил юбиляра с днем рождения.

«Человек щедрой и красивой души, поэт-мыслитель, неутомимый общественный деятель,— подчеркнул Э. А. Шеварднадзе, — Вы своим творчеством вносите огромный вклад в духовное формирование современника. Лира поэта утверждает идеалы партии, народа».

Поэзия И. Абашидзе вписала замечательную страницу в многонациональную советскую литературу и принесла ему всенародное признание. Стихотворения поэта покоряют тонким лиризмом и глубоким проникновением в духовный мир героев, философской наполненностью и гражданской страстью. Творчество большого поэта и гражданина внесло огромный вклад в укрепление дружбы народов и взаимообогащение братских литератур нашей страны.

И. Абашидзе сердечно поблагодарил Э. А. Шеварднадзе за высокую оценку его творчества, за огромную партийную заботу о грузинской советской культуре.

Поэта-академика с днем рождения поздравил также секретарь ЦК КП Грузии Г. Н. Енукидзе.

ОРДЕНА — ПИСАТЕЛЯМ ГРУЗИИ

УКАЗОМ Президиума Верховного Совета СССР от 16 ноября 1984 года за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 50-летием образования Союза писателей СССР орденами СССР награждены писатели, в том числе по Грузинской ССР

орденом Дружбы народов Абашидзе Ираклий Виссарионович, Берулава Хута Михайлович, Чиладзе Отар Иванович.

Орденом «Знак Почета» Аджинджал Шолоди Михайлович, Джусойты Нафи Григорьевич, Киласония Нази Георгиевна, Поцхишвили Морис Фомич, Чейшвили Резо (Реваз) Бенедиктович.

ПЛЕНУМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

Пленум правления Союза писателей Грузии обсудил на

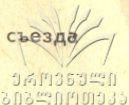
своей встрече актуальные проблемы, стоящие перед писательской организацией в свете речи Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. У. Черненко на юбилейном пленуме, посвященном 50-летию Первого всесоюзного съезда советских писателей.

В выступлениях председателя правления Союза писателей Грузии Ш. Нишнианидзе, секретаря правления СП республики, члена-корреспондента Академии наук Грузии Г. Цицишвили, выступлениях других ораторов отмечалось огромное значение этого документа исторической важности,

Руководствуясь указаниями и выводами, содержащимися в этой речи, грузинские писатели видят свою первейшую задачу в том, чтобы держать в чистоте и готовности могучее оружие художественного слова, крепить связь литературы с жизнью народа, развивать принципы партийности и народности, повышать общественную функцию литературы — воспитательную.

Пленум наметил ряд практических мероприятий по достойной встрече 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне,

предстоящего XXVII
КПСС.



ИНТЕРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Хеловнеба» выпустило в свет юбилейную публикацию книги «Первые грузинские печатные издания» (авторы — А. С. Чикобава и Д. Л. Ватейшвили), приуроченную к 350-летию грузинского книгопечатания.

В истории культуры многих народов бывают периоды, обозначающие своего рода поворотные этапы ее длительного пути развития. Один из подобных этапов, как известно, связан с начальными шагами национального книгопечатания.

Именно этой теме — всестороннему освещению истоков грузинского книгопечатания — посвящена эта книга. Издание строится из параллельно изложенных на грузинском, русском и английском языках трех основных частей, в которых соответственно раскрыты исторические предпосылки появления наиболее ранних грузинских печатных изданий, содержится подробная характеристика «Грузино-итальянского словаря», «Грузинской грамматики», а также приводятся сведения о новоустановленном печатном тексте «Литании Лауретаны».



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ» ЗА 1984 ГОД

04935930
2023010333

Памяти Ю. В. Андропова. III,
3.

Публицистика

- АБШИЛАВА А. «Потийский эксперимент». X, 136; XI, 120; XII, 127.
- БОГОМОЛОВ И. Диалектика связи. VI, 183.
- ГАСПАРИШВИЛИ В. Быть на земле человеком. IX, 118.
- КАЧАРАВА В. С общегосударственных позиций. IV, 139.
- КОМАХИДЗЕ Н. Старые проблемы нового правительства Турции. VI, 193.
- ЛАБАРТКАВА Т. Всемерно укреплять позиции. I, 165.
- МЕНТЕШАШВИЛИ А. Опираясь на источники. II, 150.
- ПАЙЧАДЗЕ Г. Плечом к плечу. V, 190.
- ЦАИШВИЛИ С. Влекут человека горы. III, 206.

Из летописи Великой Отечественной

- СУКИАСОВ Ю. Надо помнить! V, 174.
- ТИМИН Т. Ей было девятнадцать. V, 183.

40 лет Великой Победы

- БАЛУАШВИЛИ В. Автор и его книга. XII, 171.
- МЕСХИ И. Мать солдата. XI, 110.

Страницы революционного прошлого

- ДЗИДЗАРΙΑ Г., ЛЕЙБЕРОВ И. Связная Москвы, II, 163.

К 50-летию I съезда писателей СССР

- АБАШИДЗЕ И. Наш первый съезд. XII, 3.
- ДУМБАДЗЕ Н. Долг и призвание. X, 207.
- НИНИДЗЕ М. «Грузия «в снах снится...» XI, 172.
- РАМИШВИЛИ Н., КИАСАШВИЛИ Е. Сквозь строки писем. X, 189.

С пленума правления Союза писателей Грузии

Продолжать славные традиции.
II, 105.

Поэзия

- АБАШИДЗЕ И. XI, 3.
- АВАЛИАНИ Т. III, 24.
- БАРАТАШВИЛИ М. III, 24.
- БЕДИАНИДЗЕ Д. III, 30; XI, 6.
- БЕРИДЗЕ А. III, 27; XI, 101.
- БЕРУЛАВА Х. XII, 19.
- ВАКЕЛИ И. VI, 5.
- ВАЧНАДЗЕ Ю. II, 7.
- ГВЕТАДЗЕ В. X, 6.
- ГЕГЕЧКОРИ Г. X, 3.
- ГОНАШВИЛИ М. III, 33; IX, 9.
- ГРАЧЕВ О. II, 49.
- ДЖАВАХИШВИЛИ Т. III, 26.
- ДЖАНГУЛАШВИЛИ Т. V, 3.
- ДЖУСОЙТЫ Н. IX, 81.
- ДИВНОГОРЦЕВА-ГРИГОЛИЯ И. I, 110.
- КАЛАДЗЕ К. I, 3.
- КАЛАНДАДЗЕ А. III, 25.
- КАЛАНДИЯ Г. VIII, 18.
- КАХИДЗЕ М. III, 25.
- КВИТАИШВИЛИ Э. IX, 3.
- КВЛИВИДЗЕ М. I, 5; X, 132.
- КОРИНТЭЛИ К. III, 28.
- КУТАТЕЛАДЗЕ Н. III, 31; IV, 71.
- МЕБУРИШВИЛИ Т. VIII, 27.
- МРЕВЛИШВИЛИ М. III, 23.
- НАРИМАНИДЗЕ С. VIII, 12.

ОНАНИЯ Г. XI, 80.
ОРДЖОНИКИДЗЕ И. III, 25.
ПОЦХИШВИЛИ М. II, 3.
СЕРГЕЕВА И. III, 28.
СЕРЕБРЯКОВ С. X, 123.
СОПРОМАДЗЕ Н. III, 35.
СУЛАБЕРИДЗЕ Л. VII, 3.
ТАТАРАИДЗЕ Э. III, 34.
УРУШАДЗЕ П. III, 32.
ХАРЧИЛАВА В. XI, 75.
ХЕТАГУРИ М. III, 29; X, 51.
ЦААВА Д. III, 34.
ЦЕРЕТЕЛИ А. VI, 3.
ЧАНТЛАДЗЕ Ш. VI, 109.
ЧАРКВИАНИ Д. IV, 3.
ЧХИКВАДЗЕ В. VI, 76.
ШКОДА В. V, 8.
ЭБАНОИДЗЕ И. IV, 119.

Проза

БИТАРОВА З. В гостях у
Анюты. VIII, 113.
БРЕГВАДЗЕ Л. Два рассказа.
I, 75.
ГАЛДАВАДЗЕ А. Тушинские
рассказы. VII, 80.
ГЕГЕШИДЗЕ Г. Глас вопию-
щего. I, 11; II, 9; III, 36.
ГЕЛАШВИЛИ Н. Окна. XII,
36.
ГОТУА Л. Печаль Крданиси.
V, 132.
ГУРУЛИ Г. В конце недели—
отдых. XII, 50.
ДАНГУЛОВ С. Посольские
записи. VI, 116.
ДЖГБУРИА М. В тени гру-
шевого дерева... VIII, 32;
IX, 88.
ДОЧАНАШВИЛИ Г. Ватер-
по/лоо, или Восстановитель-
ные работы. IV, 75; V, 71.
ДУМБАДЗЕ Н. Талико. VII,
3.
ИЛЬЯН Р. Д. Рассказы. XI,
104.
КАНДЕЛАКИ Н. Ливень. X,
8; XI, 12.
КАРАШВИЛИ Н. Эта таинст-
венная Анна. III, 15.
КОБИДЗЕ Р. Старая история.
VI, 81.
ЛЕЖАВА И. Два рассказа.
III, 127.

ЛЯТОШИНСКИЙ Н. Рассказ
зы. VIII, 126.
МАРГАНИДЗЕ В. Иррацио-
нальная триангуляция. XII,
111.
МИШВЕЛАДЗЕ Р. Новеллы
X, 59.
МОРЧИЛАДЗЕ М. Лошадь в
городе. XII, 100.
ОГАНОВ И. Осенняя битва.
XI, 87.
ОСИНСКИЙ В. Стоянка. III,
79.
ПАНДЖИКИДЗЕ Г. Реквием.
VII, 11.
ПЕТЕРС В. Непутевый. III,
144.
РЧЕУЛИШВИЛИ Г. Осень
дедушки Котэ. X, 128.
СТУРУА Д. Судьба. IX, 13.
ТАМАЗИШВИЛИ А. Едущие
на юг. VIII, 121.
ЦИЦИШВИЛИ Г. Одолей ал-
чность свою. IV, 8; V, 9;
VI, 12.
ЧЕЛИДЗЕ Л. Bravo, Альберт
Лоллиш! II, 52.

Критика и литературоведение

АЛИЕВА Д. Низами и Руста-
вели... IX, 168.
АЛИМОНАКИ Л. Солнце,
солнце, солнце... III, 174.
АЛХАЗИШВИЛИ Г. Судьба
художника. X, 152.
АХВЕРДЯН Р. История, люди,
книги... IX, 158.
БАТИАШВИЛИ Г. Дар дра-
матурга. V, 164.
БИЧИКАШВИЛИ И. М. Ша-
гинян — корреспондент «За-
ри Востока». XI, 156.
БОГОМОЛОВ И. Певец друж-
бы народов. XII, 168.
ГВЕНЕТАДЗЕ Г. «Человек-
стихия». X, 163.
ГВЕТАДЗЕ М. Высота. VI,
140.
ГВЕРДЦИТЕЛИ Г. Ваше сло-
во, молодые! VII, 125.
ЕЛИГУЛАШВИЛИ Э. Возвра-
щение к Тинатин. V, 149.
ЕРЕМЕНКО В. Глагол Дже-
мала Топуридзе. IX, 142.

ИНЦКИРВЕЛИ Д. Ему еще многое есть сказать. IV, 125; Сюжет «Балавариани» в испанской литературе. XII, 158.

КАЗБЕКОВА З. Мир романа или романый мир? XII, 138.

КАПЛАН А. Заглавие — его семантическое и эстетическое назначение. II, 136.

КОШУТ С. «Создать героя нашего времени...» VII, 152.

МИТИН Г. Приобщение к прекрасному. IX, 149.

МХИТАРЯН А. В поисках гармонии. X, 159.

ПИПИЯ Б. «Тбилиси! Я тобой клянусь!» IV, 135.

ПОРЧХИДЗЕ Ш. Поэтическая палитра мастера. VI, 148.

СИГУА С. Роман о поэте. VIII, 159.

СИРАДЗЕ Р. О возрожденческой эстетике. III, 149.

ТВАРАДЗЕ Р. Писатель и литературная мода. VII, 139.

ХИНТИБИДЗЕ Э. Восточный Ренессанс и Руставели. III, 166.

ХИХАДЗЕ Л. Еще раз об интерпретации классики. VIII, 167.

ЦАИШВИЛИ С. Цена Великой Победы. XI, 146.

ЦАНАВА А. Корни — в родной земле. IX, 133.

ЧИЛАВА Р. «Эта трудная закавказская Илиада...» II, 117.

ЧОЛОКАВА Н. Специфика исторического романа. IV, 132.

ЧХАРТИШВИЛИ Р. Новеллы Реваза Мишвеладзе. VIII, 149.

ЧХЕИДЗЕ И. Приближение к «Приближению». XI, 136.

ЧХЕНКЕЛИ Т. Жизнь в науке. III, 146.

Литература и жизнь

ГОРЮХИНА Э. «Счастливого пути в Тбилиси, а потом в Новосибирск». I, 120.

Очерк

ДАВИДОВ Р. Буровые наступают на степь. I, 160.

ЕГОРОВ Л. Мир держится на мастерах. XII, 186.

НАЦВЛИШВИЛИ П. Внук. IV, 145.

ОСИНСКИЙ В. Право на власть. VIII, 134.

Из записной книжки писателя

АЛПЕНИДЗЕ В. Возрожденный, обновленный... IV, 160.

ЧАНТУРИЯ Т. Два портрета. XI, 164.

Из архива писателя

АСАТИАНИ Г. Память. VI, 159.

Проблемы зарубежной культуры

ЦИНЦАДЗЕ Т. Поэтика Каунти Каллена. IX, 183.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО В. Аристократ интеллекта. Эдгар По. IV, 164.

Рецензии

АВАЛИАНИ Л. Еще одна монография о замечательном художнике. IV, 176.

АХВЕРДЯН Р. Памятник дружбы. III, 192.

БЕРИДЗЕ В., СУМБАДЗЕ Л. Книга об искусстве народов Дагестана. XI, 200.

БОГОМОЛОВ И. Немногое о многом. VIII, 216.

ГЕГИЯ М. Книга-исповедь. VIII, 209.

ГОЗАЛИШВИЛИ Ш. Роман о жизни грузинских шахтеров. IV, 194.

ЕРЕМЕЕВ А. Художественное как способ человеческого проявления. IV, 193.

ЕРЕМЕНКО В. «Одари сокровищем слова...» I, 184.

ЗЛАТКИН А. Свидание современников. XI, 193.

КАМЕНСКИЙ А. Что и как видел Н. Пиросмани? III, 185.

КОРЕНЕВА М. Оттенки черного. I, 186.

КОТЕТИШВИЛИ В. «Фиалки на горе». IV, 185.

КУРБАТОВ Г. Мир греческого рыцарского романа. IV, 187.

НАХШОН И. Глоток истины V, 201.

НИКОЛАЕВСКАЯ Е. Ревность по дому. I, 179.

ХАРИТОНОВ В. Достоверность истории. XII, 197.

ШАМЕЛАШВИЛИ Р. «Общее языкознание» V, 197.

ШАРОЕВА Т. Необходимость диалектики. XII, 201.

ШОШИН В. Поэзия дружбы. XI, 196.

Документы. Письма. Воспоминания

ДУРМИШИДЗЕ С. Патриарх. VII, 171.

ЗАЙЦЕВА-ШЕРВАШИДЗЕ Р. Разум и сердце — Родине. IV, 202.

МАРГИАНИ Р. Рядом с Тицианом. V, 204.

НОНЕШВИЛИ М. Страницы дружеской переписки. IV, 197.

РЫЖЕНКОВ М. Спустя два века. VIII, 206.

СУЛАКАУРИ А. Любить жизнь. XII, 191.

ТАБИДЗЕ Н. Радуга. V, 206; VI, 202; VII, 179.

ЧХИКВИШВИЛИ Д. Одна из памятных встреч. IX, 175.

Искусство

АМИРЭДЖИБИ Н. «Голубые горы, или Невероятная история» XII, 206.

БАКРАДЗЕ Н. Долгая жизнь в искусстве. XII, 214.

ДОГОНАДЗЕ Л. Дмитрий Алексидзе и его новые ученики. IX, 214.

ЖГЕНТИ Н. Два прочтения образа. X, 217.

МЕГРЕЛИДЗЕ Г. Продолжая традиции... VI, 176.

МИРЦХУЛАВА Н. У истоков. IV, 214.

НИКОЛАДЗЕ А. Встреча с прекрасным. VII, 219.

ОРДЖОНИКИДЗЕ Г. Прочтение Шекспира. I, 191; II, 203.

ПИЧХАДЗЕ М. Будни и праздники театра. II, 190.

ТАБУКАШВИЛИ Л. «Тбилисмой и Пиросмани» IX, 207.

ТОРАДЗЕ Г. Б. Асафьев и грузинская музыкальная культура. XI, 207.

ХАРИТОНОВ В. Образные доминанты современного искусства. III, 213.

ШАЛАМБЕРИДЗЕ Т. Путь в искусстве. XI, 219.

Наука

РОССОХА Л. К истории грузинской колонии на Украине. VII, 192; VIII, 183.

Наши публикации

СИВОВОЛОВ Б. Неизвестное стихотворение К. Чичинадзе. VIII, 181.

Люди и факты

Б. БЕГИАШВИЛИ, Л. САНАКОВА. Эстафета духа. IX, 201.

К 100-летию со дня
рождения Л. Киачели

ЛАКОБА С. В далеком 1905-м.
II, 182.

К 170-летию со дня
рождения Т. Шевченко

ДЖАНЕЛИДЗЕ О. «Мы еди-
ны духом...» III, 197.

К 125-летию со дня рождения
К. Хетагурова

ЧЕТИТЫ Р. К. Хетагуров и
грузинская общественность.
X, 180.

Некролог

Микола Бажан. II, 222.

Михаил Шолохов. II, 194.

Нодар Думбадзе. X, 212.

Резо Маргиани. VII, 220.

Хроника

I, 223; II, 189, 224; III, 223;

IV, 222; V, 173, 224; VI,

223; VII, 215, 219, 222; VIII,

223; IX, 174, 206, 224; X,

179, 224; XI, 163, 171, 205,

223; XII, 185, 218.



На 1-й стр. обложки: «Метехи». Репродукция с картины
Е. Ахвледиани.

Сдано в набор 23.10.84 г. Подписано к печати 13.XII.84 г. Формат
84×108¹/₃₂. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97, Уч.-изд.
л. 14,0. УЭ 09303. Тираж 6.100 экз. Заказ 2399. Адрес редакции:
380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ [ответственный секретарь], Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ [заместитель главного редактора], Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 к

6/136/4

ИНДЕКС



НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

